

ВИСЕНТЕ БЛАСКО-ИБАНЬЕС

КУРТИЗАНКА СОННИКА

Женские лики – символы веков

Висенте Бласко-Ибаньес

Куртизанка Сонника

«Public Domain»

1900

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)

Бласко-Ибаньес В.

Куртизанка Сонника / В. Бласко-Ибаньес — «Public Domain»,
1900 — (Женские лики – символы веков)

ISBN 978-5-486-03341-4

Висенте Бласко Ибаньес (1864–1928) – один из крупнейших испанских прозаиков конца XIX – начала XX в. В мастерски написанных произведениях писатель воссоздал картины, дающие представление о противоречиях жизни Испании того времени. В данном томе публикуется его знаменитый роман «Куртизанка Сонника», рассказывающий об осаде в 219 г. до н. э. карфагенским полководцем Ганнибалом иберийского города Сагунта, ставшего римской колонией. Ганнибал решает любой ценой вернуть Сагунт под власть Карфагена, даже если придется разрушить город. Героическая оборона и падение Сагунта стали поводом к началу Второй Пунической войны. В центре романа – история любви красавицы Сонники, которая прошла путь от портовой куртизанки до богатой и уважаемой владелицы судов и рабов, и греческого наемника Актеона.

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)

ISBN 978-5-486-03341-4

© Бласко-Ибаньес В., 1900
© Public Domain, 1900

Содержание

I	5
II	21
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Висенте Бласко Ибаньес

Куртизанка Сонника

I

Храм Афродиты

Когда судно сагунтинского моряка Полианта появилось в виду его родины, рыбаки и моряки издали узнали своими зоркими глазами, привычными к ширине морского горизонта, шафранного цвета паруса и статую победы с распростертыми крыльями и короной в правой руке, занимавшую всю ширину носа корабля, так что ноги ее касались воды.

– Это судно Полианта «Викториана» возвращается из Гадеса и Нового Карфагена.

Три отделения Сагунтинского порта соединялись с морем широким каналом и были окружены террасами, на которых теперь теснился народ, чтобы лучше видеть приближающееся судно.

Болотистые низины, покрытые камышами и перепутавшимися водными растениями, тянулись до Сукронесского залива, выделявшегося изогнутой полоской своих линий и лазоревым цветом; на нем, как рой мух, сновали челны рыбаков. Корабль тихо приближался к входу в порт. Красный парус его трепетал под легким дуновением ветерка, но не надувался более; три ряда весел начали работать, двигая судно по белой пене, как бы запиравшей вход в канал.

Наступал вечер. На холме, около порта, возвышался храм Венеры Афродиты. В его полированном фронте отражались лучи заходящего солнца. Золото разлилось по голубоватым мраморным колоннадам и стенам храма, будто отец дня огненным поцелуем прощался с богиней моря. Цепь темных гор, покрытых пиниями и кустарниками, громадным полукругом окаймляла лежавшую между нею и морем плодоносную долину с ее белыми загородными домами и башнями, тонущими в зелени деревьев. Над ними, на скате гор, расстился древний город Закинф; он виднелся вдали, в дымке поднимавшихся от земли паров, и его дома казались подавленными множеством стен и башен. Выше всего стоял Акрополь с циклопическими стенами и массой храмов и общественных зданий.

В порту еще кипела работа. В большой лагуне два марсельских судна грузились вином; корабль из Либурнии набирал запас сагунтинской глины, чтобы продать ее в Риме; карфагенская галера скрывала в своих недрах пласты серебра, добытого в кельтиберийских рудниках. Другие суда, с собранными парусами и опущенными веслами, стояли неподвижно около мола, как заснувшие птицы. Тихо покачивали они изваянными на их носках любимыми украшениями александрийского флота – головами крокодилов и лошадей или страшными карлами, подобными тому, который красовался на корабле финикийца Кадмия во время его удивительных странствий по морям.

Рабы, в одеждах, состоящих из перевязи вокруг бедер и белой шляпы, с напряженными, потными мускулами, сгибаясь под тяжестью амфор, кусков металла и других товаров, непрерывной вереницей тянулись по доскам с берега на суда и наполняли их товарами, заранее нагроможденными на молу.

У входа в центральный бассейн порт охраняла высокая башня, купая в глубине моря свой крепкий фундамент. Прикрепленный к железным кольцам в стене этой башни, качался военный либурийский корабль с высокой кормой, с изображенной на носу головой овна, с опущенными громадными парусами и зубчатой башенкой близ мачты. Вокруг бортов виднелись сложенные щиты классиариев – солдат, предназначенных специально для морских сражений.

Это было римское судно. Оно должно было на следующее утро отправиться обратно с посредниками, посланными великой республикой для разбора смут, волновавших Сагунт.

Со второго бассейна, где строились и поправлялись суда, доносились звуки инструментов, ударявших по твердому дереву. Как адские чудовища, виднелись там полуразрушенные, лежавшие в песке галеры, открывая, сквозь оторванные борта, крепкую структуру или глубокий мрак своих недр.

В третьем, наименьшем бассейне становились на якорь лодки рыбаков. Над ними капризными извивами носились чайки, спускаясь иногда, чтобы схватить плавающие на поверхности воды отбросы. Старые и молодые женщины собирались на берегу в ожидании барок с рыбой из Сукронесского залива, где рыбный промысел был отдан в аренду наиболее отдаленному племени Кельтиберии.

Сагунтинское судно должно было привезти много того, чего желали жители порта. Рабы двигались медленнее, так как внимание приставленных к ним надсмотрщиков было поглощено прибывающим кораблем; спокойные граждане, сидевшие на набережной, ловя на удочки жирных угрей, забывали о своей ловле, глядя на «Викториану». Она уже вошла в канал. Корпуса ее не было видно. Мачта с опущенным парусом плавно двигалась над высоким камышом, окаймлявшим вход в порт.

Вечерняя тишина нарушалась лишь кваканьем лягушек в окрестных болотах и пением птиц, доносившимся из оливковых рощ храма Афродиты. Молоты арсенала медленно били, люди в порту болтали, следя за ходом судна Полианта. Когда «Викториана» обогнула острый изгиб канала, глазам толпы явились ее золотая статуя и первый ряд красных весел, ударявших по воде с такой силой, что от них летели брызги.

Толпа, среди которых были семьи моряков, разразилась восклицаниями.

– Здорово, Полиант! С приездом, сын Афродиты! Да осыплет тебя благодеяниями твоя госпожа Сонника!

Голые, растрепанные мальчишки бросались с головой в воду и плавали вокруг судна, как маленькие тритоны.

Обитатели порта восхваляли своего соотечественника, охотно преувеличивая его достоинства. Все было в порядке на его судне, богатая Сонника должна была остаться довольной своим отпущенником.

На самом носу корабля, недвижим как статуя, стоял лоцман, внимательным взором следивший, какие могли оставаться препятствия впереди; матросы гребли, мерно разгибая свои голые, потные, блестящие на солнце спины; на возвышенном месте кормы стоял кормчий, сам Полиант, в развевающейся красной одежде. Он не обращал внимания на крики толпы; он держал руль правой рукой, а левой белую палочку, с помощью которой управлял движениями гребцов. Около мачты стояли группы людей в чужеземных одеяниях и женщин, окутанных в широкие плащи.

Судно, только что выдержавшее сильные удары волн залива, теперь, как громадное насекомое, тихо проскользнуло в порт, прорезая килем как бы застывшую мертвую воду.

Когда бросили якорь и придвинули сходни, гребцам пришлось силой сдерживать толпу, хлынувшую было на палубу корабля.

Кормчий отдавал приказания, и его красная одежда развевалась пламенным пятном под лучами заходящего солнца.

– Эй, Полиант!.. С счастливым приездом, мореход!.. Что нам привез?

Кормчий увидел на берегу двух верховых. Тот, что окликнул его, был в белом плаще, конец которого, накинутый на голову, оставлял открытой только его завитую и надушенную бороду. Его товарищ крепко стиснул бока лошади сильными голыми ногами; на нем был сагум кельтиберийцев: короткая шерстяная туника, через плечо был привешен широкий меч. Его всклокоченные волосы и борода обрамляли смуглое, мужественное лицо.

– Здравствуй, Лакаро, здравствуй, Алорко! – сказал моряк очень почтительно. – Видели ли вы мою госпожу Соннику?

– Не дальше как этой ночью мы ужинали на ее даче, – ответил Лакаро. – А что ты привез?

– Скажите ей, что я привез серебристый свинец из Нового Карфагена и шерсть из Бетики.

Хорошее было путешествие.

Молодые люди подобрали поводья своих лошадей.

– Ах, постойте! – крикнул Полиант. – Скажите ей, что я не забыл ее поручения и исполнил его: привез танцовщиц из Гадеса.

– За это мы все поблагодарим тебя, – сказал со смехом Лакаро. – Прощай, Полиант! Да будет к тебе благосклонен Нептун!

Наездники пустились в галоп и скоро скрылись за хижинами, расположенными у подножия храма Афродиты.

В это время один из пассажиров сошел с корабля и прокладывал себе дорогу в толпе, теснившейся у сходней. Он был грек: все узнали это по его пилеосу, конической кожаной шапочке, напоминающей головной убор Улисса на греческих картинах. На греке была темная короткая туника, подпоясанная ремнем, с висевшей на нем сумкой. Хламида, падавшая ниже колен, была скреплена на правом плече медной застежкой; на его ногах были ремневые, потертые и запыленные сандалии; мускулистые и тщательно освобожденные от волос руки старались держать прямо копьё; короткие и вьющиеся волосы, вырываясь из-под шапочки, окружали его голову, как венцом; они были черные, но в них, как и в бороде, уже проглядывала седина. Над верхней губой усы были выбриты, как водилось в Афинах.

Это был человек сильный и в то же время ловкий, мужественный, крепко сложенный и здоровый. В его несколько насмешливом взгляде был огонек, присущий людям, рожденным для блеска и власти. Он проходил по незнакомому порту с уверенностью путешественника, привыкшего ко всяким странностям и неожиданностям.

Солнце закатывалось, работы в порту прекращались, народ расходился. Перед иностранцем проходили партии рабов, обтиравших с себя пот и потягивающих свои наболевшие члены. Понукаемые палками своих смотрителей, они шли на ночлег в горные пещеры или в мельницы для выжимания оливкового масла, находившиеся близ таверн для матросов, трактиров и публичных домов, которые, как принадлежность порта, своими земляными стенами и деревянными крышами теснились у подножия холма Афродиты. Купцы отыскивали своих лошадей и телеги, чтобы возвратиться в город. Они проходили группами, рассматривая надписи на своих дощечках и обсуждая дневные дела. Их различные типы, одеяния и манеры указывали на смешение народностей, царствовавшее в Закинфе, торговом городе, соперничавшем с Ампурией и Марселем, куда с давних пор стекались все суда Средиземного моря. Азиатские и африканские купцы, привозившие слоновую кость, страусовые перья, пряности и благовония для городских богачей, отличались благородной и важной осанкой; на них были туники с вышитыми золотом цветами и птицами, зеленые сапоги, высокие тиары с бахромой; бороды их спускались на грудь горизонтальными волнами мелких завитков. Подвижные греки болтали, смеялись, хвалились своими товарами и громко порицали иберийских экспортеров, серьезных, бородатых, диких, одетых в грубую шерсть, отвечавших презрительным молчанием на то, что считали пустой болтовней и лишними словами.

Мола пустели, вся жизнь перешла на дорогу к городу, где в пыли скакали лошади, гремели экипажи и бежали мелкой рысцой африканские ослики, несшие на спинах каких-нибудь толстых горожан, сидевших наподобие женщин.

Грек шел по молу за двумя людьми, одетыми в короткие туники. Их конические шапки со спускавшимися по бокам крыльями напоминали те, что носили эллинские пастухи. Это были городские ремесленники. Они провели день, занимаясь рыбной ловлей, и возвращались домой, с гордостью рассматривая свои корзины с мелкой рыбой и несколькими угрями. Они изъяс-

нялись обычным языком этой древней колонии, находившейся в постоянных торговых сношениях со всеми народами земли, то есть в иберийскую речь вмешивали греческие и латинские слова. Грек с любопытством иностранца прислушивался к их разговору.

– Ты пойдешь со мной, друг, – сказал один из них, – я держу своих ослов, которые, как ты знаешь, служат предметом зависти для соседей, в гостинице Абилиана. Мы попадем в город прежде, чем запрут ворота.

– Благодарю тебя, сосед. Действительно, опасно ходить одному, когда везде шныряют искатели приключений, которых мы нанимаем из-за войны, а также злоумышленники, ушедшие из города во время последних беспорядков. Ты, верно, слышал, что третьего дня на дороге нашли тело Актея, брадобрея с Форума. Его зарезали и ограбили, когда он утром возвращался из своего загородного домика. Теперь, говорят, после посредничества римлян мы будем жить спокойно. По требованию римских легатов отрубили несколько голов, и уверяют, что мы теперь заживем мирно!

Они на минуту остановились и оглянулись на римскую галеру, едва видимую около башни, уже окутанной покровом ночи. Потом, задумавшись, продолжали путь.

– Знаешь, – опять заговорил один из них, – я только башмачник, имею палатку на Форуме, скопил понемножку мешок серебряных викториатов, чтобы спокойно дожить старость, сидя вечером у своих детей, опершись на палку; я не учен, как те риторика, что гуляют за городскими воротами, крича как фурии, не разумен, как философы, собирающиеся в портиках Форума, чтобы при насмешках торговцев спорить о том, кто более прав из афинских мудрецов. Но, при всем моем невежестве, я все же себя спрашиваю: к чему борьба между живущими в одном городе, которые должны бы были относиться друг к другу как братья? Зачем это?

Товарищ башмачника одобрял его, быстро кивая.

– Я понимаю, – продолжал ремесленник, – что время от времени у нас могут быть войны с соседями турдетанцами, ну, там из-за водоснабжения, или из-за пастбищ, из-за границ, или чтобы помешать им разрушить наш прекрасный порт... Тут, конечно, горожане могут вооружиться, воевать, опустошить поля врагов, сжечь их жилища. Это люди не нашей породы и должны уважать великий город. К тому же война доставляет рабов, которых часто не хватает, а без рабов что будешь делать?...

– Я беднее тебя, сосед, – сказал другой рыболов, – седла, которые я делаю, приносят меньше дохода, чем твоя обувь, а все же я имею одного раба, который много помогает мне в моей работе. А война очень выгодна моей торговле.

– Война с соседями – это ничего, пускай себе будет. Молодежь развивает свои силы, желает отличиться; республика получает большее значение; воины, отправляясь по горам и долинам, покупают сапоги и седла. Прекрасно. Поощряется торговля. Но скажи, пожалуйста, зачем Форум уже больше года как обращен в поле брани, а каждая улица – в крепость? Вот сидишь ты себе в своей палатке, расхваливаешь какой-нибудь покупательнице элегантность модных в Азии сандалий из парусины или прочность греческих котурнов... Вдруг на ближней площади раздается шум оружия, крики, стоны умирающих, и тебе остается одно: поскорей запереть лавочку, чтобы какой-нибудь острый меч не пригвоздил тебя к твоему сиденью. И за что? Какая причина заставляет людей драться, как котов, в столь спокойном и трудолюбивом прежде Закинфе?

– Заносчивость и богатство греков... – начал было его товарищ.

– Да знаю я эту отговорку! Ненависть между иберийцами и греками; уверенность, что последние, вследствие богатства и учености, властвуют над первыми и эксплуатируют их!.. Как будто в городе есть в самом деле греки и иберийцы!.. Иберийцы – это те, что живут за окружающими нас горами; грек – это вот тот человек, что приехал сегодня и идет теперь за нами; а мы, мы только дети Закинфа или Сагунта – как хочешь называй наш город. Мы результат многих встреч на земле и море, сам Юпитер не сумел бы сказать, кто наши предки. С

тех пор как Закинф был укушен змеей и наш отец Геркулес положил основание стенам Акрополя, кто может знать, какие люди прибывали сюда и поселялись здесь и кто силой присвоил себе их поля и каменоломни? Сюда приезжали люди из Тира в поисках глины, моряки Занта, убегавшие с семьями от своих тиранов, земледельцы из Ардеи, уроженцы Италии, бывшие в свое время могущественными, но теперь униженные Римом, карфагеняне, когда они более думали о торговле, чем о войне... И кто знает, сколько еще разного люда! Надо послушать педагогов, объясняющих историю в портиках храма Дианы... Я сам, разве я знаю, кто я – грек или ибериец? Мой дед был отпущенник из Сицилии, он нанялся здесь на гончарный завод и женился на кельтиберийке, жившей внутри страны. Моя мать была лузитанка, участвовавшая в экспедиции, имевшей целью продажу в Александрии золотого песка. А я? Я останусь сагунтинцем, как и все. Те, кто в Сагунте называют себя иберийцами, веруют в греческих богов, греки же бессознательно принимают многие обычаи иберийцев. Они считают себя разными народностями только потому, что живут в отдельных частях города. Однако праздники у них те же, и в близких Панафинях ты увидишь сынов эллинских купцов и земледельцев, одетых в грубые шерстяные ткани и отращивающих бороды, чтобы быть похожими на дикие племена внутри страны.

– Да, но ведь греки всем овладели, сделались полными господами всего, взяли в свои руки жизнь города.

– Они самые образованные, самые отважные, в них есть что-то божественное, – вдумчиво произнес башмачник. – Посмотри на того, кто идет за нами. Он одет бедно, в его кошельке, наверно, нет и двух оболлов, чтобы поужинать, он, может быть, будет спать под открытым небом, а между тем он, не преувеличивая, имеет вид Зевса, сошедшего к нам с небес.

Оба ремесленника инстинктивно оглянулись на грека и пошли дальше. Они подошли к хижинам, где из-за близости порта ютилось многолюдное население.

– Есть другая причина разделяющей нас вражды, – сказал седельщик, – не ненависть между греками и иберийцами, а то, что одна партия желает быть в дружбе с Римом, а другая – с Карфагеном.

– Не надо дружить ни с теми, ни с другими, – наставительно произнес башмачник. – Надо жить спокойно и торговать, как прежде, вот и будем благоденствовать. Я обвиняю греков только в том, что они склонили нас к дружбе с Римом.

– Рим – победитель.

– Так, но он от нас далеко, а Карфаген – рукой подать. Войско Нового Карфагена может быть здесь в несколько дней.

– Рим наш союзник и сумеет защитить нас. Вот уж его легаты, уезжающие завтра, прекратили наши беспорядки, отрубив головы гражданам, возмущавшим мир и спокойствие города.

– Да, но эти граждане были друзьями Карфагена и издавна под покровительством Гамилькара. Ганнибал не забудет друзей своего отца.

– Э! Карфагену также нужен мир для развития торговли и богатства. Несмотря на нападение в Сицилии, они страшатся Рима.

– Страшатся сенаторы, но сын Гамилькара молод. Боюсь я этих сделавшихся предводителями ребят, которые забывают вино и любовь ради славы...

Грек не мог более ничего расслышать, так как ремесленники скрылись за хижинами и звуки их слов заглохли вдали.

Иностранец был совершенно одинок в этом незнакомом порту. Моля уже были безлюдны, начинали блестеть кое-где фонари на кормах кораблей, и вдали над морем восходил диск луны цвета меда. В маленьком порту рыбаков еще замечалось некоторое движение.

Женщины, обнаженные по пояс, держа между ног отрепье, служившее им одеждой, стоя в воде, мыли рыбу, потом, положив ее в корзины, ставили их на голову и шли, таща за собой вис-

нувших на них малюток. С судов сходили группы людей и направлялись к нищенским постройкам у подножия храма – это были матросы, разыскивающие таверны и публичные дома.

Грек знал их обычаи. Таких портов, как этот, он видел много. Храм на высоте служил вехой морякам; под ним внизу было вино, дешевая любовь и кровавые схватки, как финал праздника. Грек подумал было пойти в город, но это было далеко, и он не знал дороги. Он решил остаться тут и поспать где-нибудь до восхода солнца.

Он вошел в узкие кривые переулки между не в ряд построенными, будто случайно с неба упавшими домишками, с их земляными стенами, тростниковыми крышами, узкими оконцами, с отверстиями, завешанными оборванными коврами вместо дверей. В некоторых, менее нищенских домах жили торговцы, доставлявшие продовольствие на суда, маклеры, продававшие зерно, и те, кто с помощью нескольких рабов доставали воду из источников долины и снабжали ею корабли. Но большей частью в этих жилищах помещались кабаки, таверны и публичные дома.

На некоторых из этих заведений красовались греческие, латинские и иберийские вывески, намалеванные охрой.

Кто-то окликнул грека. Толстый лысый человек, стоя у своего порога, делал ему какие-то знаки.

– Здравствуй, сын Афин, – он назвал имя самого известного греческого народа, – проходи сюда, будешь между своими: мои предки были оттуда. Посмотри на вывеску моего трактира: «Паллада Афина». Ты у меня найдешь лауронское вино, не уступающее аттическим. Если хочешь попробовать кельтийское пиво, оно есть у меня. Могу, если желаешь, предложить тебе и бутылочку самосского вина, такого доброкачественного, как сама богиня Афина, украшающая мою вывеску.

Грек сделал, улыбаясь, отрицательный знак, а велеречивый трактирщик уже приподнял завесу своего логовища, пропуская в него толпу матросов.

Через несколько минут грека остановил свисток, как будто призывавший его из глубины одной хижины. Старуха, закутанная в черный плащ, стоя у двери, делала ему знаки. Внутри, при свете глиняной лампы, подвешенной на цепочке, было видно несколько женщин, сидевших на циновках с видом смирившихся животных и проявлявших жизнь только застывшей улыбкой, показывающей их блестящие зубы.

– Ты, однако, пряткая, мать, – сказал, смеясь, иностранец.

– Постой, сын Зевса, – возразила старуха на эллинском языке, исковерканном грубым акцентом и свистящим дыханием ее беззубого рта, – я сейчас узнала, что ты грек. Все твои соотечественники прекрасны и веселого нрава, а ты похож на Аполлона, ищущего сестру свою небесную. Войди, здесь ты найдешь... – И, схватив иностранца за его хламиду так сильно, что чуть не разорвала ее, старуха начала перечислять все прелести ее иберийских, балеарских и африканских питомцев. Одна была высока и величественна, как Юнона, другая – маленькая и грациозная, как александрийские и греческие гетеры... Когда же мнимый покупатель оторвался от нее и отошел, старуха повысила голос и, думая, что не угодила его вкусу, продолжала докладывать, что у нее есть еще девушки белые, с длинными волосами, прекрасные, как сирийки, которых так любят в Афинах.

Грек уже вышел из кривого переулка, а все еще слышал голос старухи, как бы опьяневшей от своих гнусных предложений. Он вышел в поле на дорогу в город. Направо от него был холм храма и у подножия его дом, несколько больший, где помещалась харчевня, освещенная красными глиняными лампадами. Через окна и двери было видно, что делалось внутри. Там сидели на каменных скамьях моряки всевозможных стран, говорившие на различных наречиях. Были и римские солдаты в бронзовых чешуйчатых латах, с короткими мечами, висевшими с плеч, с поставленными у ног шлемами, увенчанными красной щетиной из конских волос; были гребцы из Марселя, почти голые, с ножами, скрытыми под тряпками, окутывав-

шими их бедра; финикийские и карфагенские моряки в широких шароварах, в высоких шапках в форме митр, с тяжелыми серебряными серьгами в ушах; негры из Александрии – силачи с неловкими движениями, показывавшие при улыбке острые зубы, напоминавшие возмутительные сцены людоедства; были кельты и иберийцы, в темной одежде, с непокрытыми спутанными волосами, смотревшие недоверчиво и инстинктивно протягивающие руки к своему широкому ножу; несколько грубых людей из Галлии, с длинными усами, с огненного цвета волосами, завязанными узлом и спадавшими им на затылок; наконец, люди, заброшенные сюда со всех концов света случайностями войны или морских путешествий: сегодня победоносные воины, завтра то рабы, то моряки, то пираты, без законов и национальности, они боялись только главу судна, который, не задумавшись, мог велеть наказать их кнутом или распять, и верили лишь в свой меч и в свои мускулы; по ранам, бороздившим их тела, по обрезанным ушам, прикрытым грязными волосами, можно было догадываться об их прошедшей жизни, полной ужасающих тайн. Они ели, стоя у прилавка, на котором находились ряды амфор с заткнутыми свежими листьями горлышками; другие, сидя на сложенных из камня скамейках, держали на коленях глиняные блюда. Большинство лежало на животе на полу, как звери, делящие добычу. Они простирали волосатые руки над большими блюдами, между слов шумно шевеля челюстями. Они не пропускали случая налить себе вина и требовать женщин. Измученные бездействием во время путешествий или грубой дисциплиной на кораблях, они теперь предавались еде и питью, как какие-нибудь сказочные людоеды.

Скученные в тесном помещении, задыхаясь от чада лампад и запаха кушаний, они все же чувствовали потребность общения и между глотками разговаривали со случайными соседями на языке, который состоял больше из жестов, чем из слов. Карфагенянин рассказывал греку о своем последнем путешествии по серому, туманному Великому морю за Геркулесовыми столбами, до берегов, известных только его соотечественникам, где они добывают олово. В другом углу негр передавал двум кельтиберийцам о поездке по Красному морю, о его берегах, пустынных днем, но по ночам покрытых движущимися огнями, о местах, где живут люди, покрытые шерстью и быстрые, как обезьяны, шкуры которых, набитые соломой, посылались в египетские храмы, как дань богам. Наиболее старые римские солдаты вспоминали свою великую победу при Эгастских островах, положившую конец войне, изгнав карфагенян из Сицилии; они, в своей дерзости победителей, не обращали внимания на то, что их слушали побежденные. Иберийские пастухи, находясь среди моряков, старались умалить значение их походов, говорили о волшебной скорости коней их племени, в то время как какой-нибудь маленький грек, живой и остроумный, начинал, чтобы унижить варваров и показать превосходство своего народа, декламировать отрывки из оды, выученной в Пирейском порту, или затягивать медленную и нежную песенку, которая терялась в шуме разговоров, жующих челюстей и звона посуды. Требовали больше света. Атмосфера в душной таверне становилась гуще, на черных от сажи стенах еле видные светильники лампад казались пятнами крови. Из смежной кухни неся запах пикантных соусов и несвежего мяса, заставлявший иных посетителей плакать и кашлять. Некоторые были уже навеселе в начале трапезы и просили у рабов венки, чтобы украсить, как богатые на пирах. Другие хлопали и кричали от восторга, когда трущоба осветилась кровавым светом факелов, зажженных хозяином. Рабы сутились около прилавка, двигали тяжелые амфоры, бегали в кухню, несли, красные от напряжения, тяжелые блюда. Вино при открытии одной амфоры полилось на пол. Время от времени появлялись у окон размалеванные лица падших женщин, волчиц порта, ожидавших, чтобы их впустили в остерию; моряки со смехом здоровались с ними, подражая вою зверя, имя которого они носили, как прозвище, или бросали им остатки кушаний, которые они вырывали друг у друга, царапаясь и ругаясь.

Кушанья были так остры и пряны, что каждый кусок приходилось запивать. Греки ели мидии, плавающие в шафранном соусе, свежие сардинки, окруженные лавровыми листьями; птица подавалась им под зеленым соусом; иберийские пастухи довольствовались жесткой коп-

ченой рыбой; римляне и галлы поглощали большие куски кровавого мяса; угри, ловимые в порту, подавались с вареными яйцами. Все эти и многие другие кушанья были насыщены солью, перцем, пахучими травами, которым приписывали странные качества. Присутствующие чувствовали потребность тратить день, наесться и валяться пьяными на полу, чтобы вознаградить себя за полную лишений жизнь на судах и на время забыть о ней. Римляне, уезжавшие на другой день и получившие задержанную раньше плату, спешили оставить свои сестерции в Сагунтинском порту; карфагеняне с гордостью превозносили свою республику, самую богатую на свете; моряки хвалили своих хозяев, всегда щедрых, когда прибывали в порт, благоприятный для их торговли. Трактирщик то и дело опускал в пустую амфору разные монеты: закинфские – с изображением носа корабля и летящей над ним Победой, карфагенские – с легендарным конем, монеты с ужасными кабирскими божествами или изящные александрийские с красивым профилем Птолемея. У самых грубых гребцов являлось желание хотя бы в продолжение одной ночи подражать богачам, показать свою власть, чтобы этим воспоминанием утешаться в трудовые дни. Они спрашивали себе лукринских устриц, которых суда привозили в амфорах с морской водой крупным сагунтинским купцам, или оксигарум, возбуждающее аппетит кушанье из внутренностей рыб, приготовленных с солью, уксусом и пряностями, за которое римские патриции платили громадные деньги. Красное лауронское и розовое сагунтинское вина были в презрении у тех, кто имел деньги. Также презирали марсельское вино, болтая о мякине и глине, которые к нему примешивали. Они требовали вин Кампании, фалернского, массивки и цекубо, которые, несмотря на их ценность, пили из очень вместительных сосудов сагунтинской глины в форме лодки. Вместе с горячительными кушаньями и многообразием напитков – от иностранных вин до кельтийского пива – эти люди после долгого пребывания на море были жадны до продуктов полей и поглощали большое количество овощей и фруктов. Они бросались на блюда грибов, хватали руками репу, приготовленную с уксусом, земляные груши, свеклу и чеснок. Горы свежего салата из загородных садов исчезали, покрывая пол зелеными листьями и грязной землей.

Грек смотрел на это зрелище, стоя у дверей с несколькими моряками, не нашедшими себе места в таверне. При виде грубой трапезы иностранец вспомнил, что он ничего не ел с утра, с тех пор как надсмотрщик над гребцами на судне Полианта дал ему кусок хлеба. Новые впечатления заставили на время молчать его привыкший к лишениям желудок, но при виде столь обильного количества съедобного грек почувствовал сильный голод и инстинктивно шагнул через порог харчевни, но тотчас же подался назад. Зачем было ему входить? В его сумке были папирусы, свидетельствовавшие о его путешествиях, памятные дощечки для записей; были также щипчики для вырывания волос из кожи и гребенка – вещи, с которыми не расставался никогда порядочный, внимательный к своей внешности грек. Но сколько он в ней ни рылся, он не нашел ни одного обола. В Новом Карфагене его приняли на судно даром, потому что кормчий уважал уроженцев Аттики. Голодающий был одинок на чужбине, и, если бы он вошел в харчевню и спросил поесть, не предлагая денег, с ним поступили бы как с рабом и погнали палками.

Он предпочел бегством избавиться от мучений Тантала. Обернувшись, он столкнулся с высокого роста человеком, одетым в темный сагум, в сандалии, привязанные к ногам грубыми веревками. Человек этот имел вид кельтийского пастуха, но греку при быстром взгляде на него показалось, что он уже не в первый раз видит эти пламенные, повелительные глаза, заставлявшие вспомнить орла у ног Зевса.

Грек, однако, равнодушно пожал плечами; он думал только о том, чтобы заглушить голод и, если возможно, выспаться до восхода солнца. Уйдя от этой несчастной части города, освещенной и шумной, он искал место, где бы отдохнуть, и направил свои шаги к роше Афродиты. К храму, находящемуся на вершине холма, вела широкая лестница из голубого мрамора, нижние ступени которой начинались у мола.

Грек сел на отшлифованный камень, решившись дожидаться здесь дня. Луна освещала верхнюю часть храма; шум улиц, глухо доносившийся сюда, сливался с дальним шепотом моря, с дрожанием листьев масличных деревьев, с однообразным кваканьем лягушек и утопал в великой тишине ночи.

Несколько раз до его слуха долетал звук, похожий на вой волка. Вдруг этот звук раздался за его спиной, и он почувствовал на своей шее горячее дыхание; обернувшись, он увидел женщину, наклонившуюся над ним, упершуюся руками в колени и улыбающуюся глупой улыбкой, которая портила ее рот, открывая десны, лишенные нескольких зубов.

– Здравствуй, иностранец. Я видела, как ты вышел из улицы. Ты, верно, скучаешь в одиночестве, и я пришла дать тебе счастье. Что? Разве это невозможно?

Грек тотчас же узнал, кто она. Это была «волчица» из порта, одна из тех несчастных, которых он видел на пристанях всех стран: всенародные продажные женщины, любовницы на одну ночь людей разных цветов кожи и рас, без всякой воли, с одним желанием лечь на спину с двумя-тремя оболами в руках на какой-нибудь камень или под тень барки; старые гетеры, отупевшие в разврате; беглые рабыни, искавшие свободы в проституции, шуме и опьянении; самки, олицетворяющие любовь по грубым понятиям жестоких людей моря; бедные скотины, в молодости изнуренные излишествами, обреченные в старости переносить одни побои.

Иностранец смотрел на эту еще молодую женщину. В ней можно было найти остатки красоты, но лицо исхудало, глаза слезились, и рот был обезображен отсутствием зубов. Она была закутана в широкий кусок грязной, разорванной, но прекрасной материи, ноги ее были босы, спутанные волосы придерживались ремнем, который несчастная украсила несколькими заткнутыми за него полевыми цветами.

– Теряешь свое время, – сказал, добродушно улыбаясь, грек, – у меня нет ни одного оболы в кошельке.

Ласковый голос этого человека смутил блудницу. Она привыкла к ударам: для нее мужчина был грубый драчун, кусанием выражающий свое наслаждение. Перед нежностью грека она потерялась и притихла, как перед непредвиденной опасностью.

– У тебя нет денег? – скромно сказала она, после некоторого молчания. – И не надо, бери меня даром. Ты нравишься, из всех людей в харчевне мои глаза выбрали тебя, я раба твоя.

Она наклонилась над греком, лаская огрубелыми руками его кудри, в то время как он смотрел на нее с несказанной жалостью: ее впалая грудь и изогнутый стан, казалось, носили следы попиравших их ног всех народов мира.

Голодный чужестранец был тронут великодушием этой несчастной: это было братство несчастных.

– Если ты не желаешь быть одной, останься со мной, говори со мной, но не ласкай меня. Я голоден, я ничего не ел с утра и в эту минуту отдал бы все наслаждения Цитеры за порцию еды какого-нибудь матроса.

Женщина выказала крайнее удивление:

– Ты голоден?... Ты изнемогаешь от голода, а я думала, что ты насыщен амброзией Зевса!..

В ее глазах было изумление, как если бы она увидела, что Афродита, богиня сверкающей наготы, сошла с мраморного пьедестала и с распростертыми объятиями отдалась за обол гребцам порта.

– Подожди, подожди! – сказала она после некоторого размышления решительным голосом.

Грек видел, как она побежала к хижинам, когда же усталость и слабость начали смыкать его веки, он снова почувствовал ее возле себя.

– Кушай, мой господин, – сказала она, дотрагиваясь до его плеча, – мне дорого стоило достать это. Жестокая Лаис, старуха, страшна как парка, но она помогает нам в тяжелые дни

и согласилась дать мне свой ужин, заставив меня поклясться, что к восходу солнца я принесу ей два сестерция. Кушай и пей, милый.

Она положила на ступени серый хлеб в форме диска, сухую рыбу, полкруга сагунтинского белого сыра и поставила кружку кельтийского пива.

Грек бросился на пищу и стал пожирать ее, а «волчица» смотрела на него нежно, почти с материнским выражением.

– Я бы хотела быть богатой, как Сонника, которая, как говорят, начала свою жизнь так же, как и мы, а теперь она обладательница многих кораблей, садов тенистых, как Олимп; толпы рабов, гончарные заводы и лучшие окрестные поля принадлежат ей. Я хотела бы быть богатой только на одну ночь, чтобы угостить тебя всем, что есть лучшего в порту и городе. Я бы хотела устроить для тебя такой пир, какие бывают у Сонники, чтобы он продолжался до утра и чтобы ты, увенчанный розами, пил из золотой чаши самосское вино...

Грек, тронутый искренностью и наивностью болтовни этой несчастной, посмотрел на нее ласково.

– Не благодари меня. Я должна благодарить тебя за то счастье, которое я чувствую, дав тебе возможность утолить голод... Что со мной? Не знаю. От каждого человека, дотрагивавшегося до меня, я что-нибудь получала. Кто давал кожаную монету, кто кусок материи, кто кружку пива, большинство только удары и пинки, а все что-нибудь давали; я терпела и равно ненавидела всех их. Вдруг ты пришел, бедный и голодный, меня не искал, ничего мне не дал, отталкиваешь меня, а мне довольно того, чтобы ты был около меня, и по телу моему разливается никогда не испытанное блаженство. Тебе принесла я ужин, а сама опьянела, как после пира. Скажи, действительно ли ты человек или отец богов, спустившийся ко мне на землю, чтобы поднять и возвеличить меня?

Возбужденная своими собственными словами, она опустилась на колени на ступенях лестницы и, протягивая руки к купающемуся в лунном свете храму, воскликнула:

– Афродита, богиня моя! Если я когда-нибудь соберу то, что стоят две белые голубки, я принесу их тебе в дар, украшенных цветами и огненного цвета лентами в память об этой ночи!

Отпив горькой влаги из кувшина, грек протянул его девушке; она прильнула губами к тому месту сосуда, которого коснулись его губы.

Не дотронулась она до еды, но продолжала пить, что еще более возбуждало ее красноречие.

– Если бы ты знал, как трудно мне было достать все это! Улицы полны пьяных, валяющихся в грязи; они, приподнимаясь на руках, рвут платье, кусают ноги. Вино льется на улицу из дверей трактиров. Один африканец бежал за каким-то человеком, догнал его и бросил в воду, а один кельтиец раскроил ему голову кулачищем... Тулу, одну иберийскую девушку, раз подняли за ноги и окунули головой в самый большой кратер в таверне, она чуть не захлебнулась вином до смерти. Это обыкновенные увеселения. Я сама видела, как бедная Альдура, моя приятельница, сидела на земле вся в крови и держала в руках свой глаз, который выбил ей кулаком пьяный египтянин. И это каждую ночь!.. Вот теперь, хотя мне и страшно как-то с тобой, а кажется, что с тех пор, как я узнала тебя, я живу в другом, новом мире, я в первый раз даю себе отчет в том, что меня окружает.

И она рассказала ему свою историю. Звали ее Бахис. Родину свою она не знала. Вероятно, она родилась не в здешнем порту, потому что помнила в раннем возрасте большое путешествие на корабле. Должно быть, ее мать была тоже «волчицей», и она, Бахис, была плодом случайной встречи ее матери с каким-нибудь матросом. Имя Бахис, данное ей в детстве, было именем многих известных в Греции куртизанок. Одна старуха, должно быть, купила ее у матроса, привезшего девочку в Сагунт. Любовь она узнала раньше, чем сделалась женщиной. Хижину старухи посещали старейшие коммерсанты порта и все развратники города, которые передавали друг другу это беспомощное, слабое, неразвившееся детское тело. По смерти своей хозяйки

она сделалась «волчицей» и поступила в полное владение матросов, рыбаков, горных пастухов и всей грубой толпы, кипевшей в порту.

Ей еще не было двадцати лет, а она уже состарилась, увяла, истощилась от излишеств наслаждений и побоев! Город она видела издали: только два раза в жизни была в нем. Там не терпели «волчиц». Им позволяли существовать близ рощи Афродиты, как гарантия для спокойствия Сагунта, так как они отвлекали от города людей разных национальностей, приезжавших в порт. В городе чистые нравами иберийцы негодовали при виде проституток, а развратники греки имели слишком утонченный вкус, чтобы чувствовать хотя бы сострадание к тем несчастным продавщицам любви, которые, как скоты, падают на краю дороги за кисть винограда или горсть орехов. И тут, в тени от храма Венеры, жила Бахис, ожидая приезда новых людей, возбужденных воздержанием на море, которые валились на нее, волосатые, бесстыдные и грубые, как сатиры. И так будет она влачить жизнь, пока не зарежут ее во время какой-нибудь ссоры или не умрет она от голода под покинутой баркой.

– А ты кто? – спросила по окончании своего рассказа Бахис. – Как зовут тебя?

– Меня зовут Актеоном, моя родина Афины. Я много изъездил разных стран: в одном месте был воином, в другом – моряком, я сражался, торговал, а также сочинял стихи и беседовал с философами о вещах, которых ты не понимаешь. Я был богат много раз, а теперь ты мне дала поесть. Вот вся моя история.

Бахис смотрела на него с восторгом, угадывая в его кратких словах целое прошлое приключений, страшных опасностей и неожиданных превратностей судьбы. Она вспоминала подвиги Ахиллеса и похождения Улисса, о которых столько раз слышала в пьяных песнях греческих моряков.

Блудница, склонившись на грудь Актеона, гладила рукой его волосы. Благодарный грек улыбался ей братски, но так бесстрастно, как если бы она была маленьким ребенком.

Два матроса вышли из одной хижины и, шатаясь, направились к молу. Резкий вой, пронизывающий воздух, долетел до слуха Актеона. Его подруга по привычке, по инстинкту продавца, издали угадывающего покупателя, встала на ноги.

– Я вернусь, мой повелитель. Я было совсем забыла ужасную Лаис. Надо отдать ей деньги раньше восхода солнца: она изобьет меня, если я не исполню обещания. Подожди меня здесь.

И, повторяя дикий вой, она бросилась за двумя матросами, которые остановились и встречали смехом и неприличными словами крик «волчицы».

Когда насытившийся грек остался один, ему стало противно приключение. Актеон – афинянин, которого оспаривали друг у друга в Керамике самые богатые гетеры прекрасного города, оказался под покровительством несчастной блудницы порта и любим ею!.. Чтобы не встречать ее более, он покинул лестницу и пошел бродить по переулкам. Он во второй раз остановился у той харчевни, где почувствовал страдания голода. Там шла настоящая оргия. Хозяин прятался за прилавком. Рабы спасались в кухне от ударов. Вытекшее из разбитых амфор вино казалось лужами крови. При звуках просачивающейся в землю влаги пьяные поворачивались и криками требовали себе напитков, о которых смутно слышали во всех странствованиях, или фантастических блюд, будто бы изобретенных для тиранов Азии. Египетский геркулес лазил на четвереньках, изображая шакала, и кусал женщин, которых уже впустили в таверну. Несколько негров плясали, подражая движениям женщин, и, как загипнотизированные, не сводили глаз со своих пупков, сотрясаемых движениями живота. По углам на скамейках, при ярком свете факелов, валялись мужчины в объятиях женщин, запах голого и потного тела смешивался с запахом вина; в этой атмосфере отвратительной вони некоторые матросы, позабыв всякий стыд, отказывая с пренебрежением куртизанкам, ласкали друг друга и предавались половому извращению, свойственному той эпохе.

Среди этого беспорядка несколько человек около прилавка, казалось, совершенно спокойно о чем-то спорили. Это были двое римских солдат, один карфагенянин и один кельтиец.

Медленность их речей, принимавших от гнева повышенный тон, их налитые кровью глаза, их ноздри хищных птиц, все более раздувающиеся, указывали на степень их опьянения, упрямого, задорного, оканчивающегося нередко убийством.

Римлянин вспоминал о своем участии четырнадцать лет тому назад в битвах при Эгастских островах.

– Знаем мы вас! – дерзко обратился он к карфагенянину. – Вы – республика торговцев, рожденных от бесчестия и лжи. Если надо дорого что-нибудь продать и обмануть покупателя, то в этом вы всех превзойдете, но если говорить о настоящих людях, о воинах, то первенство принадлежит нам, сынам Рима, держащим одной рукой соху, а другой копье.

И он гордо поднял свою коротко остриженную голову и надул бритые щеки, на которых легли глубокие следы от подвязей шлема.

Актеон в окно смотрел на кельтиберийца, который один между ними молчал, хотя не спускал своих пламенных глаз с бронзовых лат и открытой шеи римского легионера, будто его привлекали выпуклые вены, выступавшие на его коже. Без сомнения, грек уже видел эти глаза где-то. Так, встречая старого знакомого, мы не можем вспомнить его имя. Наблюдательный грек почувствовал, что в наружности кельтиберийца было что-то поддельное.

«Я бы поклялся Меркурием, что этот человек не то, чем он кажется. Он не похож на пастуха, и цвет его бронзовой кожи темнее цвета кожи даже загорелого кельтийца. Во всяком случае, его падающие на плечи волосы фальшивые...»

Он не мог продолжать своих наблюдений за этим человеком, так как его внимание поглотил все разгоравшийся между легионером и старым кельтийцем спор, прерываемый шумом, царившим в харчевне.

– Я также участвовал в тяжелом деле при Эгасте, – говорил карфагенец. – Там я получил рану, которая так избороздила лицо мое. Еще не доказано, что вы нас победили!.. Я много раз видел, как ваши корабли убегали от наших, и насчитывал сотнями трупы римлян на сицилийских полях. Ах, если бы Ганон не опоздал явиться на поле битвы!.. Если бы Гамилькар прислал подкрепление!..

– Гамилькар! – презрительно воскликнул римлянин. – Этот великий полководец просил нас о мире!.. Торговец, превратившийся в завоевателя!..

И он смеялся с дерзостью сильного, не обращая внимания на возмущение карфагенянина, который задышался и не находил слов возражения.

Молчавший до сих пор кельтиец дотронулся рукой до старика.

– Молчи, карфагенянин. Римлянин прав. Вы, купчишки, не можете равняться с ними в сражении. Вы большего достигаете деньгами, чем мечом. Но не все же принадлежат в Карфагене к твоему сословию, родятся там и такие, которые сумеют дать отпор итальянским разбойникам.

При вступлении крестьянина в их спор римлянин принял гордый вид и дерзко, с презрением воскликнул:

– Кто же это? Уж не сын ли Гамилькара? Этот мальчуган, мать которого, как говорят, была рабой?

– Основатели Вечного города были сыновья проститутки. Римлянин, недалеко тот день, когда карфагенский конь побьет римскую волчицу.

Легионер вскочил, дрожа от ярости, и поднял меч, но в ту же минуту вскрикнул и упал, хватаясь за горло.

Актеон видел, как кельтиец выхватил из рукава сагума нож и всадил его в ту шею, на которую смотрел, пока ее обладатель издевался над Карфагеном.

Харчевня задрожала от завязавшейся борьбы. Другой римлянин, увидев упавшего товарища, бросился с поднятым мечом на кельтийца, но получил сам удар ножом в лицо и был ослеплен хлынувшей кровью.

Удивительна была ловкость этого человека. Его движения показывали гибкость и упругость пантеры, удары сыпались на его тело, не принося ему вреда. Вокруг него летел дождь горшков, кусков разбитых амфор и бросаемых в него мечей. Но он, угрожающе подняв руку с ножом, прыгнул в дверь и скрылся.

– Держи! Держи! – кричали побежавшие за ним римляне. Привлеченные грубым удовольствием охоты за человеком, за ними последовали все те из посетителей харчевни, которые еще держались на ногах. Несколько человек, возбужденные видом крови, перескакивали через умирающего римлянина и через тела мертвецки пьяных, валявшихся около раненого. Выйдя из харчевни, они разделились на несколько групп и по разным направлениям пустились в погоню за кельтийцем, но последний, за несколько шагов от остерии, вдруг исчез, будто сквозь землю провалился.

Весь порт заволновался. Огни забегали по молам и по узким переулкам селения, трактиры и публичные дома страдали от ярости обезумевших от гнева римлян: около их дверей начинались новые ссоры, доводившие также до кровопролития. Грек, боясь быть замешанным в какую-нибудь неприятную историю, быстро повернулся к лестнице храма. Бахис не возвращалась, и грек взошел по мраморным ступеням на паперть – широкую террасу с полом из голубого мрамора, на которую падали тени от поддерживающих фронтон колонн.

Просыпаясь, Актеон почувствовал на лице своем теплоту солнца. Птицы пели на маслинах, и где-то слышались людские голоса. Приподнявшись, он увидел, что наступило уже утро, между тем как ему казалось, что прошло всего несколько секунд с тех пор, как он задремал.

Женщина, патрицианка, стояла недалеко от него и улыбалась ему. Она была закутана в длинную белую льняную одежду, спадавшую до ног и драпировавшую ее, как статую. На лоб ее спадало несколько колец рыжих волос. Ее губы были подкрашены, во взгляде ее бархатных черных глаз, окруженных тенью от усталости бессонной ночи, светилось что-то веселое и нежное. На ее руках под мантией серебристо звенели невидимые запястья, а кончик сандалии, высунувшийся из-под одежды, блестел драгоценными камнями. За ней стояли две прекрасные кельтийские рабыни с полуоткрытыми роскошными смуглыми грудями, с ногами, укутанными разноцветными тканями. Одна из них несла двух белых голубей, другая держала на голове корзину роз.

В находившихся близ прекрасной патрицианки Актеон узнал Полианта и надушенного элегантного юношу, бывшего с другим всадником на моле при встрече корабля.

Пораженный прекрасным видением, грек встал.

– Афинянин, – сказала она чистейшим греческим языком, – я Сонника, хозяйка того судна, на котором ты прибыл сюда. Мой отпущенник Полиант хорошо сделал, что принял тебя, он знает, как я сочувствую твоему народу. Кто ты?

– Меня зовут Актеон, и я молю богов, чтобы они осыпали тебя благодеяниями за твою доброту. Да сохранит Венера твою красоту на всю жизнь.

– Ты мореплаватель?... Или торговец? Или странствуешь по свету, давая уроки красноречия и поэзии?

– Я солдат, как были все мои близкие. Мой дед умер в Италии, защитив своим телом великого Пирра, который любил его, как брата, мой отец командовал наемниками на службе Карфагена, и его несправедливо казнили во время беспощадной войны...

Он остановился, как будто это воспоминание мешало ему продолжать речь, но тотчас же прибавил:

– Я недавно сражался под предводительством Клеомена, последнего лакедемонца. Я был его товарищем. Когда же герой был побежден, я проводил его в Александрию, а потом начал странствовать по свету, так как не выношу бездействия в изгнании. Я был торговцем в Родосе, рыбаком на Босфоре, каменщиком в Египте и сатирическим поэтом в Афинах.

Прекрасная Сонника приблизилась к нему, улыбаясь. Этот афинянин обладал всеми качествами, которые она так любила в его соотечественниках. Это был один из тех любителей приключений, привычных к непостоянству судьбы, которые, путешествуя по всему свету, под старость часто делали истории своей жизни.

– Зачем приехал ты сюда?

– Приехал сюда, как мог бы приехать в другое место. Мне предложил твой кормчий свести меня в Закинф, и я согласился. Я хотел было остаться в Новом Карфагене. Я мог бы поступить в войско Ганнибала, достаточно было бы объявить о моем происхождении, чтобы быть хорошо принятым всюду: грекам дорого платят во всех армиях. Но здесь у вас война, а я предпочитаю драться против иноземцев и служить стране, где меня не знают и не причинили мне еще никакого вреда.

– И ты спал здесь эту ночь? Не нашел ночлега в гостиницах?

– Я не нашел обола в своем кошельке. Я насытился благодаря милости одной падшей женщины, которая разделила со мной свой ужин. Я был нищ и изнемогал от голода. Не смотри на меня с таким сожалением, Сонника. Я давал пиры, продолжавшиеся до утра: в Родосе мы во время песен бросали в окошко рабам серебряные блюда. Жизнь человека должна быть такой, как герои Гомера: в одном месте он царь, в другом нищий...

Полиант с интересом смотрел на этого искателя приключений, а элегантный Лакаро, который сначала был против того, чтобы Сонника заговорила с таким плохо одетым греком, теперь приблизился к нему, отдавая справедливость изяществу греков, не зависящую от одежды, и предполагая войти с ним в дружбу, чтобы получить полезные советы.

– Приходи ко мне на дачу, – сказала Сонника, – на закате. Поужинаешь с нами. Кого ни спросишь, всякий проведет тебя к моему дому. Мое судно привезло тебя в эту страну, чтобы ты пользовался гостеприимством под моим кровом. До свидания, афинянин, я ведь тоже оттуда. Увидев тебя, мне показалось, что перед моими глазами блеснуло золотое копье Паллады с высоты Парфенона.

Сонника, улыбкой простившись с афинянином, двинулась к храму со своими рабынями.

Актеон слушал, что говорили, стоя вне храма, Лакаро и Полиант. Они провели ночь у Сонники и только утром встали из-за стола. На Лакаро еще был венок из поблекших теперь роз. Узнав, что привезены танцовщицы из Гадеса, которых она ожидала с нетерпением, Сонника пожелала посетить корабль Полианта и, проходя мимо храма, принести жертву Афродите, что она всегда совершала, отправляясь в порт. В своих широких носилках, сопровождаемая Лакаро и рабынями, она исполнила эту фантазию, надеясь выспаться по возвращении, так как она почти всегда оставалась в постели до самой ночи.

Кормчий отправился на свой корабль, чтобы высадить танцовщиц на землю, а Актеон с Лакаро подошли к открытым дверям храма. Его внутренность была проста и красива. Это было большое квадратное помещение с отверстием в потолке, дававшим возможность свету проникать в храм. Лучи солнца, проходя через отверстие, придавали лазоревым колоннам и капителям, изображающим раковины, дельфинов, амуров с веслами в руках, аквамариновый неопределенный цвет моря. Из полутемной от нежной дымки фимиамов глубины, белая, гордая, ослепительная в своей наготе, выступала перед очарованными глазами людей богиня, будто только что родившаяся из пены морской. Недалеко от двери находился алтарь. Перед ним жрец в белой льняной мантии, придержанной на голове венком из цветов, принял из рук Сонники ее дары.

Выйдя на перистиль, она с любовью окинула взором пенящееся море, порт, блестящий как тройное зеркало, зеленую долину и далекий город, золотившийся под утренними лучами солнца.

– Как хорошо!.. Актеон, посмотри на наш город. Греция не прекрасней.

У подножия лестницы ждали ее носилки, настоящий домик с красными занавесями, с пучками прелестных страусовых перьев по четырем углам ее кровли. Их держали восемь атлетов-рабов. Сонника приказала войти рабыням в свое движущееся жилище, отстранила Лакаро, с которым обращалась как с низшим существом, допуская фамильярность ради каприза, и, обратившись к греку, стоявшему на вершине лестницы, еще раз улыбнулась ему, сделала знак рукой, до ногтей покрытой драгоценными украшениями, которые при каждом движении рассыпали в воздухе блестящие искры.

Быстро удалились носилки по городской дороге, а Актеон в то же время почувствовал ласковое прикосновение к его шее.

То была Бахис, казавшаяся при свете солнца еще более грязной и оборванной. У нее был подбит глаз и несколько синяков на руках.

– Я не могла прийти раньше, – сказала она со смирением рабыни, – только недавно заплатили мне. Вот люди! Едва только дали мне достаточно, чтобы заплатить Лаис... Всю ночь, в то время как они меня мучили, как я чувствовала на лице дыхание этих утомившихся сатиров, я думала о тебе, мой бог.

Актеон отвернулся, избегая ее ласк. От этой пьяной и усталой после испытаний ночи несчастной пахло вином.

– Ты презираешь меня? Я видела, как ты разговаривал с богатой Сонникой, которую друзья ее называют первой красавицей в Закинфе. Ты будешь ее любовником? Понимаю, что она влюбилась в тебя, но ведь в конце концов она такая же женщина, как и я... Скажи, Актеон, почему не сделаешь меня своей рабой?... Заплати только одной ночью...

Актеон отстранил руки, старавшиеся обнять его, и поглядел на дорогу, где звучали трубы и в пыли блестели шлемы и копья.

– Это легаты Рима, – сказала куртизанка. И, привлеченная чарами этих воинов, действовавшими на ее детское воображение, она быстро спустилась с лестницы, чтобы быть ближе к зрелищу.

Впереди шли трубачи римского флота, трубя в свои громадные металлические трубы, с щеками, повязанными шерстяными полосами. Толпы граждан провожали посланников, ехавших верхом на мохнатых кельтийских лошадях. Их копья были покрыты касками с тройными султанами, хранившими следы ударов, полученных в схватках с туземцами. Следовали на белых конях старейшины сагунтинского сената; они держались неподвижно, седые бороды их спускались на грудь, их темные мантии, придержанные на голове тиарой с бахромой, спускались до стремян. Римский стяг, увенчанный изображением волчицы, несли сильные моряки, и за ними ехали легаты с открытыми, остриженными головами; один был толстый, с тройным подбородком, другой худой, нервный, с ноздрями хищной птицы. Их латы были из чеканной бронзы, их ноги обуты в металлические котурны, а на крутые бедра их спускались юбочки цвета отстоя вина, украшенные золотыми тесемками, которые шевелились при малейшем прыжке лошадей.

Подъезжая к молу, шествие встретилось, среди рыбаков, матросов и рабов, с толпой женщин, укутанных в плащи, которых вел старик с нахальными глазами и влажным ртом, имевшим то отталкивающее выражение, которое принимают евнухи от общения с порабощенными женщинами. Это были танцовщицы из Гадеса, привезенные Полиантом и теперь проходившие незамеченными, так как все внимание толпы было обращено на проводы отъезжавших моряков.

Несколько женщин из рыбацкого порта предлагали легатам венки из душистых горных цветов на длинных стеблях.

Возгласы раздавались в группах матросов всех стран.

– Да здравствует Рим! Да защитит вас Нептун! Да сопутствуют вам боги!

Актеон услышал смех за собой и, обернувшись, увидел кельтийского пастуха, убившего накануне legionera.

– Ты здесь? – спросил мрачно грек. – Ты один и не прячешься от римлян, которые ищут тебя?

Повелительные глаза, те странные глаза, возбуждавшие в Актеоне смутные воспоминания, гордо смотрели на него.

– Римляне!.. Презираю и ненавижу их. Я пошел бы без страха на сам их корабль. Занимайся твоими делами, Актеон, и не заботься о моих.

– Как, ты знаешь мое имя? – воскликнул грек со все более возрастающим удивлением, восхищенный в то же время совершенством, с которым пастух говорил по-гречески.

– Знаю и твоё имя, и твою жизнь. Ты сын Лизастра, полководца на службе Карфагена, и бродишь по всему свету, не находя нигде удовлетворения.

Грек, такой сильный и самоуверенный во всем, чувствовал смущение перед этим загадочным человеком.

Последний, следя за проводами, повернулся спиной к Актеону. При виде блестевшей на солнце волчицы, сопровождаемой восторженными криками сагунтинцев, глаза его наполнились еще большим презрением и гневом.

– Они считают себя сильными, потому что их защищают римляне. Они воображают, что Карфаген погиб, потому что торгашеский сенат боится разорвать трактаты с Римом. Обезглавили сагунтинцев, бывших друзьями Карфагена, старыми друзьями семьи Барков, и ездили на поклон к Гамилькару, когда он отправлялся в свои экспедиции. Они знают, что есть некто, кто не спит и во время мира... Мир распростерся между этими двумя народами. Или один, или другой!

Восторженные крики народа, провожавшие лодку, которая отвозила легатов на Либурнику, как будто бичом хлестнули пастуха, и при звуках труб с корабля он, стиснув зубы, со сверкающими от ярости глазами, протянул свои сильные руки к кораблю и прошептал со скрытой угрозой:

– Рим!.. Рим!..

II Город

Дорога, называемая Змеиной, по которой шел Актеон, поднималась в гору.

Навстречу ему попадались телеги, нагруженные мехами с маслом и амфорами вина. Вереницы рабов, согнувшихся под тяжестью нош, с ногами покрытыми пылью, сторонились и давали ему дорогу с покорностью и робостью, внушаемую им свободным человеком. Грек остановился на минуту у масличных мельниц, где скованные рабы вертели огромные каменные жернова, и продолжал подниматься на горы, наверху которых виднелись красные дозорные башенки, своими огнями возвещавшие Сагунту о приближении кораблей или движении турдетанцев на противоположном склоне гор, где начинались их владения.

Плодоносная земля золотилась восходящим солнцем. Из дач, из деревенских домов, из бесчисленных жилищ, расположенных в долине, шел народ по Змеиной дороге в город.

Большая часть сагунтинского народа жила в долине, обрабатывая землю. В городе жили только купцы, богатые землевладельцы, чиновники и иностранцы. Когда грозила опасность, когда турдетанцы намеревались совершить нашествие на страну, весь народ бросался в город, ища защиты в его стенах; крестьяне, со всеми своими стадами, смешивались с ремесленниками и искали убежища в том месте, которое обыкновенно посещали только в базарные дни.

Видя идущий в город народ, Актеон догадался, что это был день рынка на форуме; шли крестьянки с корзинами, покрытыми листьями, на головах, одетые только в одну темную тунику, обрисовывавшую формы их крепкого тела. Крестьяне, загорелые, мускулистые, с телом покрытым звериной шкурой и куском грубой ткани, погоняли запряженных в телеги волов или навьюченных осликов; по всему пути раздавались колокольчики стад коз и мычание коров, в пыли, поднимаемой их ногами. Некоторые семьи уже возвратились, показывая с гордостью то, что променяли в палатках форума на свои фрукты; друзья их останавливались, чтобы полюбоваться тканями, кусками красной глины, женскими украшениями из грубо обработанного серебра, поздравляли их, довольных обладателей, восклицанием «Salve!».

Загорелые девочки, с крепкими, худыми членами и большими лбами, с волосами, подобранными по кельтиберийскому обычаю, шли по две, неся на плечах шесты, на которых висели пучки цветов для городских дам. Другие несли закрытые листьями от пыли большие тирсы, увитые красными вишнями. Время от времени они шалили, прыгали и подражали голосам и жестам богатой молодежи Сагунта, которая, к всеобщему скандалу города, сходилась в сад Сонники, чтобы воспроизводить перед изображением Диониса очаровательные безумства Греции.

Актеон любовался красотой пейзажа: рощи фиговых деревьев, слава Сагунта, уже покрылись листьями и зелеными ветками и спускались до земли; виноград изумрудными волнами расстилался повсюду по дальним горам до рощ пиний и каменных дубов; маслины, посаженные симметрично, казались витыми колоннами с капителями из листьев.

Этот прелестный пейзаж возбуждал в греке воспоминания детства. Эта долина была прекрасна, как его родина, Греция; туда он вернется, если боги захотят прекратить его отчаянные скитания по свету.

Пройдя более часа по направлению к городу, он достиг бесчисленных построек Акрополя. При повороте дороги он заметил, что люди останавливаются перед широким каменным алтарем, на котором разворачивала свои кольца из голубого мрамора громадная змея. Крестьяне клали перед неподвижным пресмыкающимся с узкой головой и открытой ядовитой пастью, хотевшей, казалось, проглотить их, цветы и кружки с молоком. На этом самом месте змея ужалила несчастного Закинфа, когда он с похищенными в Героне быками возвращался

в Грецию; около его тела, сожженного на высоте Акрополя, вырос город. Народ поклонялся змее, как одному из основателей их родины, и с ласковыми словами приносил ей дары, неизвестно куда потом исчезающие. Последнее давало повод верить, что змея оживала в темноте и что в бурные ночи далеко слышен был ее свист.

При приближении к Сагунту по сторонам дороги возвышались гробницы с надписями, привлекавшими внимание проходящих. За ними раскинулись сады дач, окруженные заборами, через которые перевешивались ветки фруктовых деревьев. Рабы смотрели за детьми, обнаженными и с явным греческим типом, игравшими и боровшимися между собой. У калитки одного из садов толстый старик смотрел на снующую бедноту холодным взором разбогатевшего торговца. На террасе одной виллы Актеон заметил афинскую прическу крашенных в золото волос и около нее опахало из разноцветных перьев азиатских птиц. Это была одна из дач, принадлежавших покинувшему дела богатым негоциантам.

Приближаясь к реке Бетис-Перкес, отделявшей город от полей, грек увидел перед собой девушку, почти ребенка, с целым стадом коз. Гибкая, стройная, худенькая, с темной бархатной кожей, она казалась бы мальчиком, если бы ее короткая, с разрезом на боку туника не открывала нежную округленность груди, похожую на бутон распускающегося цветка. Ее черные, влажные, большие глаза освещали таинственным блеском лицо, между ее красными, сухими от ветра губами блестели белые, сильные и ровные зубы. Волосы, приподнятые с затылка, она украсила гирляндой из маков, собранных во ржи. Она несла на плече без всякого усилия тяжелую сеть, полную кружков белого сыра, свежего, не потерявшего еще запах пахтанья, а свободной рукой ласкала белую шерсть рогатой козы, ее любимицы, прижимавшейся к ее ногам и позванивавшей своим колокольчиком.

Актеон залюбовался этой девушкой, молодость которой превозмогала усталость тяжелого труда. Ее гибкость и стройность напомнили ему танагрские фигурки на столах афинских гетер и надменную юность канефор, изображенных на греческих вазах.

Девочка несколько раз взглянула на него и наконец улыбнулась, показывая белые зубы с доверчивостью молодости и с сознанием, что ею любят.

– Ты грек? Правда?...

Она говорила, как и люди в порту, на странном наречии этого открытого для всех торгового города – наречием, смешанным из кельтийских, греческих и латинских слов.

– Я из Афин. А ты кто?

– Меня зовут Ранто, а моя госпожа – богатая Сонника. Ты, верно, слышал о ней? У нее корабли во всех портах, сотни рабов, и пьет она в золотых чашах. Видишь над маслинами в сторону моря розовую башенку? Это вилла, где она живет, когда хочет удалиться из города. Я прислуживаю ей на даче в это хорошее время. Мой отец заводит ее стадами, и она часто приезжает к нам поиграть с козами.

Актеон был смущен тем, что только и слышал разговоры о Соннике с тех пор, как ступил на сагунтинскую землю. Имя этой роскошной женщины, которую одни называли «богачкой», а другие «куртизанкой», было на всех устах. Пастушка, которой, казалось, понравился иностранец, продолжала:

– Она добрая. Иногда она бывает грустная, говорит, что она погибнет от тоски среди своих богатств, что ко всему она равнодушна; в такие минуты она способна позволить распять всех своих рабов. Когда же она бывает весела, она добра и не наказывает нас. Наше горе – ее управляющий, иберийский отпущенник. Он начальник над рабами и каждую минуту грозит нам плетью и крестом. Он сколько раз сек моего отца за пропавшего ягненка, за сломанную ногу козы, за несколько капель молока, оставшихся в сыворотке. И меня бы не раз побил, но не смеет, потому что видел, как меня ласкала Сонника.

Ранто, от рождения привыкшая к ужасному положению рабов, говорила о нем совершенно просто.

– Зимой, – продолжала она, – я ухажу с отцом в горы и с нетерпением ожидаю хорошей погоды, когда госпожа приедет на дачу и я спущусь в долину, где растут цветы. Тогда я могу весь день проводить в тени деревьев с моими козами.

– Откуда ты научилась говорить по-гречески?

– Сонника говорит по-гречески с богатыми гостями и с рабами, которые им служат. К тому же...

Она на минуту остановилась и покраснела.

– К тому же, – оживленно продолжала она, – на этом языке говорит мой друг Эросион, сын стрелка Мопсо из Родоса; мой друг помогает мне стеречь коз, когда он не работает в гончарне, которая тоже принадлежит Соннике.

Она указала на обширные мастерские на берегу реки, знаменитые сагунтинские гончарные заводы; поверх их земляных стен поднимались купола горнов, похожие на гигантские красные улья.

Около дороги, среди деревьев, раздались нежные, но безумно радостные звуки свирели, и юноша, почти одних лет с Ранто, соскочил на дорогу. Единственную одежду высокого, стройного, босого мальчика составляла оленья шкура, скрепленная у левого плеча и оставлявшая открытым правое. Его глаза горели, его черные волосы с синим отливом, в густых локонах, развевались при нервных движениях его головы. Его крепкие, худые руки, с кожей натянутой над выступающими венами и жилами, были окрашены до локтей красной глиной.

Глядя на правильный профиль красивого отрока и на его нервные движения, Актеон вспомнил учеников афинских скульпторов, тех юных артистов, которые солнечным утром, перед тем как идти в мастерскую, своими шалостями в портиках Керамикона скандализировали мирных граждан.

– Это Эросион, – сказала Ранто, нежно улыбаясь своему другу, – хотя он родился в Сагунте, но он грек, как ты, иностранец.

Юноша смотрел не на девушку, а на незнакомца.

– Ты правда из Афин? – восторженно воскликнул он. – Да в этом не может быть сомнений! Ты похож на Улисса во время его странствований, о которых рассказывает отец Гомер. Я видел твоё изображение на вазах и барельефах. И по осанке и по одежде ты похож на супруга Пенелопы. Кланяюсь тебе, сын Паллады!

– А ты тоже раб Сонники?

– Нет, – с гордостью ответил отрок. – Ранто – раба, но когда-нибудь не будет ею, а я – свободный, мой отец Мопсо, грек из Родоса, первый стрелок Сагунта. Когда он приехал сюда, все его имущество состояло из лука и стрел, а теперь он богат и с последнего похода против турдетанцев он – первый человек в сагунтинской милиции. Я работаю в гончарных заводах Сонники, она меня любит. Это она дала мне имя Эросион, потому что ребенком я был похож на амура. Я не принадлежу к тем рабочим, которые мнут глину или вертят станки, чтобы придать форму вазам. Меня называют художником: я вылепливаю листья и разных животных, я на память изваял голову Дианы, а на днях вылепил из глины великий сагунтинский герб! Знаешь, какой он? Корабль без парусов с тремя рядами весел, и над ним Победа с распушенными крыльями опускает на него венок. Я могу, если хочешь, сделать твой портрет...

Он как бы сконфузился от своих последних слов и продолжал с грустью:

– Но ты осмеешь меня, иностранец! Ты приехал из той великой страны, о которой рассказывал мне отец. Ты видел Парфенон, Палладу Афины, видную морякам раньше самих Афин, процессии лошадей в мекфонах, чудеса Фидия!.. Как бы я хотел поглядеть на это все! Когда приходит какой-нибудь корабль из Греции, я убегаю с завода и целый день провожу в тавернах моряков. Я пью с ними, дарю им фигурки в неприличных позах, которые смешат их, только для того, чтоб они рассказали мне о том, что они видели: о храмах, статуях, картинах, но их рассказы не успокаивают, а сильнее возбуждают мое желание... Ах, если б Сонника согласи-

лась! Если бы она позволила мне отправиться с одним из тех кораблей, которые поднимают свои паруса, чтобы пуститься в путь к Греции!..

Потом он энергично прибавил:

– Вот эта, моя милая Ранто, одна меня удерживает. Если б она не существовала, я давно бы нашел какого-нибудь капитана и, если нельзя бы было иначе, продал бы ему себя в рабство, чтобы путешествовать по свету, видеть Грецию и сделаться одним из тех художников, которым там воздают почести, как богам!

Некоторое время они шли молча в пыли, поднятой козами. Юноша, идя за руку с Ранто, стал опять веселым.

– А ты зачем приехал сюда? – спросил он Актеона.

– Приехал так же, как твой отец: я не имею средств и хочу предложить свои услуги Сагунтинской республике в ее войне.

– Поговори с Мопсо. Ты найдешь его или на Форуме, или в Акрополе, около храма Геркулеса, где собираются правители. Он будет рад видеть тебя; он любит своих соотечественников и поручится за тебя.

Снова наступило молчание. Грек наблюдал любовные взгляды молодых людей, пожатия их сплетенных рук, нежность, с которой их здоровые молодые тела прикасались к друг другу. Эросион, исполняя молчаливую просьбу своей возлюбленной, вынул из-за пазухи свирель из тростника и стал тихо наигрывать на ней нежную пасторальную мелодию, на которую козы отвечали своим блеянием.

Грек догадался, что его присутствие было лишнее для этой парочки, тем более что они заметно замедляли свои шаги.

– Прощайте, дети. Не торопитесь, молодость всюду приходит вовремя. Мы увидимся в городе.

– Да хранят тебя боги, иностранец, – ответила Ранто. – Если тебе что-нибудь нужно, ты встретишь меня на Форуме, я там буду продавать и этот сыр, и тот, что привезет утром в телеге садовник.

– Прощай, афинянин. Поговори с моим отцом, но не выдавай, с кем ты встретил меня.

Вода реки доходила до половины колес телег, переправлявшихся через нее. Актеон между ними перешел на ту сторону и направился вдоль стен, любясь их крепостью; глыбы неотесанного, ничем не связанного камня поддерживали стены и башни.

В главных воротах города в конце Змеиной дороги Актеону пришлось остановиться – только столпилось народу, лошадей и телег в узком, крытом проходе. В городе, прислоненный к стене, был храм Дианы, древнейший в мире, доставлявший немало славы сагунтинцам. Актеон взглянул на крышу из толстых можжевельновых досок – постройку, замечательную своей древностью, и поспешил в город. Он очутился в прямой улице; в конце ее возвышались здания, окаймлявшие громадную четырехугольную площадь с красивыми аркадами, под которыми кипела толпа. Это был Форум. Над черепичными крышами виднелись без конца белые дома лепившегося по горе города, а еще выше стены Акрополя, колонны и скульптурные фризы его храмов.

Улица, ведущая к Форуму, напомнила Актеону прибрежную часть Пирея. На ней селились негоцианты и ремесленники, большей частью греки. Всюду кипела торговая жизнь.

Рабы несли тюки с товаром; юноши с завитыми бородками и носами хищных птиц записывали на восковых таблицах свои счета, около дверей домов, на маленьких столах лежали образчики товаров: кучи ржи или шерсти и куски минералов из рудников. Продавцы, стоя облокотившись у притолоки, говорили с покупателями, усиленно жестикулируя и жалобно призывая богов в свидетели того, что торговля разоряет их.

У некоторых лавок хозяева, одетые в миртовые и пурпуровые сандалии, молча слушали разговоры, смотрели зорко глазами сфинксов и поглаживали кольца своих надушенных бород. Это были африканские, азиатские, карфагенские, египетские и финикийские купцы, хранив-

шие в домах своих много сокровищ: золотые украшения, слоновые клыки, страусовые перья и куски амбры. В дверях виднелись богатые женщины в белых мантиях, окруженные рабами, опьяненные ароматами едких азиатских и таинственных восточных духов; они в разговоре выставляли на крыльцо свои розовые мордочки. Среди прочего товара резко кричали привезенные из разных мест редкостные птицы и торжественно распускали, как мантии, свои перья.

Быстро окинув все это взором, Актеон вошел на Форум. Был базарный день, и вся жизнь города сосредоточилась на этой большой площади. Огородники разместили близ портиков горы своих овощей; пастухи из долины складывали кучи сыров и ставили кувшины с молоком; женщины из порта, загорелые и почти голые, предлагали свежую рыбу. С края площади пастухи с гор, дикого вида, вооруженные копьями, караулили коров и лошадей, пригнанных для продажи. Они были кельтийцы и, как о них говорили, ели при случае и человеческое мясо. На площади они чувствовали себя как в тюрьме и недружелюбными глазами смотрели на тесноту и движение, столь отличные от свободы их бродячей жизни. Богатство Сагунта возбуждало их разбойничьи вожделения. Сжимая в руках копья, они бросали злобные взгляды на наемников-солдат, охранявших на ступенях одного храма сенатора, которому было поручено отправлять правосудие в базарные дни.

Среди площади шумели, торгуясь, люди, одетые в пестрые наряды и говорившие на разных языках. Проходили доброжелательные граждане, просто одетые в белое, с рабами, несшими в сетках провизию, купленную на неделю; греки, в широких хламидах шафранного цвета, осматривали все и долго торговались, прежде чем купить какую-нибудь безделицу; сагунтинские граждане, иберийцы, потерявшие из-за бесконечных скрещиваний свою первоначальную грубость, старались подражать римлянам, народу, который в то время пользовался наибольшим уважением. Тут же были и жители из центра страны, бородатые, у которых желание побывать на базаре побороло их постоянную ненависть к городу и в особенности к грекам, из-за их изысканности и роскоши.

Несколько кельтийцев из племен, соседних с Сагунтом, верхом на лошадях, стояли среди Форума, не оставляя копий и покрытых бычьей шкурой щитов. Одетые в тройной шлем и кожаные латы, они, казалось, были во вражеской стране и ожидали нападения. В это время их ловкие, загорелые и мужественные жены, размахивая широкими платями с каймой самых ярких цветов, бегали по всему рынку, останавливаясь с детским восторгом у прилавка какого-нибудь грека, торговавшего стеклянными бусами и грубой работы бронзовыми ожерельями и браслетами.

Плащи из тонкого льна и пурпура смешивались с голыми членами рабов и с кельтийским черным шерстяным сагумом, сдерживаемым на плечах медным кольцом. Греческие прически, перекрещенные красными лентами, соломенные колпачки, похожие на пламя факела, низкие лбы, как верх красоты, мешались с прическами кельтиберийских женщин, подбрававших волосы, чтобы их загорелые лбы казались большими. Некоторые из этих женщин имели на шее стальной ошейник, от которого шли вверх железные проволоки, соединявшиеся над головой, и с этой клетки уже опускалось покрывало, оставляя открытым огромный лоб, блестящий и светящийся, как луна.

Актеон долго смотрел на странные прически и на бойкий, мужественный вид этих женщин. Его тонкое чутье грека подсказало ему, что было бы небезопасно засматриваться на стоявших среди Форума варваров, смотревших с ненавистью на землепашцев и торговцев. Это были хищные птицы. Чтобы быть сытыми в своих горных ущельях, они должны были прибегать к разбою. Окруженному таким народом Сагунту неминуемо предстояло сразиться с ними.

Думая об этом, грек вошел под портики, где собирались люди праздные, среди палаток брадобреев, менял и продавцов вина и прохладительных напитков. Это было похоже на галереи афинской Агоры. В уменьшенном виде это была обстановка его родного города. Важные граждане сидели на принесенных для них рабами складных стульях у палаток, прислушиваясь

к новостям; сплетники переходили от одной группы людей к другой, передавая самые удивительные ложные известия; паразиты, гонявшиеся за приглашением на ужин, лестили богачам и дурно говорили о проходящих; педагоги без места крикливо спорили о каком-нибудь правиле греческой грамматики; молодые граждане жаловались на старых сенаторов и утверждали, что республика нуждается в более сильных людях.

Много говорили о последних победах над турдетанцами. Теперь они не поднимут головы; их царь Артабан, ушедший в дальний угол своих владений, получил хороший урок. И молодые сагунтинцы смотрели с гордостью на висевшие на пилястрах копья, щиты и шлемы – трофеи их побед. Это было оружие сотен турдетанцев, убитых и взятых в плен. В палатках брадобреев продавались мебель и украшения, добытые у врагов сагунтинскими воинами. Никто не желал приобретать их. Город был наполнен такой добычей, сагунтинское войско пригнало вереницы телег с вещами, целые полки людей и множество скота. Все, думая о победах, улыбались с той холодной жестокостью древних воинов, которая заставляла побежденных считать рабство великой милостью.

Около храма, где совершалось правосудие, был рынок рабов. Они сидели в кружке на земле, обхватив руками колени и упираясь на них головой. Рожденные в неволе, покорно, как животные, ждали нового хозяина; мускулы их были истощены от голода, бритые головы покрыты белыми шапками. Другие, которых сторожили с большим вниманием, были бородаты, и на волосах их лежали венки из веток в знак того, что они были военнопленные. Это были турдетанцы, не внесшие за себя выкупа. Мысль, что они попали в рабство, заставляла их глаза блестеть яростью. Многие из них были скованы, у многих на телах зияли раны. Рты их судорожно сжимались, будто хотели укусить, а некоторые из них потрясали остатками обрубленных рук: они лишились их в борьбе с племенами, жившими внутри страны и имевшими обыкновение таким образом делать своих врагов безвредными.

Сагунтинцы смотрели равнодушно на врагов, превращенных в вещи, в скот суровым законом войны, и, забывая их, разговаривали о делах города, о борьбе партий, которая как будто прекратилась после вмешательства римлян. На ступенях ближайшего храма еще виднелись пятна крови обезглавленных друзей Карфагена, а приверженцы Рима выражали свое одобрение энергичным поступкам посланников республики. Теперь, под покровительством Рима, город будет жить спокойно. Актеону, слушавшему эти разнообразные разговоры, вдруг показалось, что среди людей, стоявших на ступенях храма, находится тот кельтийский пастух, который накануне убил римлянина, но его черный сагум скрылся в толпе, и грек не знал, действительно ли это был он.

Утро приходило. Актеон провел много времени на рынке; пора было подумать о делах. Он надеялся увидеть стрелка Мопсо в Акрополе и направился туда по узким, мощенным булыжником улочкам с белыми домами, женщинами, прядущими у порогов.

Близ Акрополя грек полюбовался циклопическими стенами, сложенными из больших глыб камня так искусно, что они не нуждались в цементе. Здесь была колыбель города, основанная товарищами Закинфа, оставшимися между грубыми туземцами.

Пройдя под широким сводом, он очутился на самой вершине горы, на площади, окруженной стенами, которая могла бы дать убежище всему народонаселению Сагунта. На этом громадном пространстве, без всякой симметрии, возвышались общественные здания, как память о тех временах, когда город еще не распространился по направлению к морю. С высоких стен виднелись обширные обработанные поля, принадлежащие республике, простиравшиеся за Суром, вдоль морского берега, до границ страны олькадов. По берегам Бетис-Перкеса виднелось множество деревень и дач, а по склону горы веером развевывался город, окруженный стенами, над которыми среди садов как бы выскакивали домики.

Актеон рассматривал в Акрополе храм Геркулеса, колоннаду, где собирался сенат, монетный двор, храм, где хранились сокровища республики, арсенал, казарму наемных войск

и поднимавшуюся над всеми этими зданиями башню Геркулеса, громадную циклопическую постройку, с которой яркие огни, повторяя сигнал сторожевых башен берега и порта, распространяли тревогу по всей сагунтинской территории. В настоящую минуту толпа рабов заканчивала, под руководством греческого художника, последние украшения маленького храма, воздвигнутого в Акрополе Сонником в честь богини Минервы.

Сагунтинцы, пришедшие сюда любоваться своим городом, и наемники, чистившие свои доспехи у дверей казарм, с любопытством поглядывали на грека.

Сагунтинец, одетый в красную римского покроя тогу и опиравшийся на толстую палку, подошел и заговорил с ним. Это был человек средних лет, сильный, с завитыми волосами и бородой, с добрым выражением глаз и улыбки.

– Скажи мне, грек, – спросил он ласково, – зачем приехал ты сюда? Ты купец или мореход? Не ищешь ли ты серебро, которое разрабатывают кельтиберийцы?...

– Нет. Я бедняк, странствующий по свету, и хочу предложить свои услуги республике, как воин.

Сагунтинец грустно заметил:

– Я бы должен был догадаться об этом, видя твоё оружие... Солдаты, все солдаты!.. В прежние времена в городе трудно было увидеть меч или кинжал. Приезжали к нам иностранцы, привозили нам свои товары, брали наши, и жили мы мирно, как описывают поэты. Теперь греки и римляне приезжают вооруженные: собаки, предлагающие пасти стадо, которое без них кормилось спокойно, не опасаясь врагов. При виде воинственных приготовлений, радости, с которой наши юноши рассказывают о последнем походе против турдетанцев, мне становится страшно за судьбу города и моих близких. Теперь мы сильнее, но откуда мы знаем, не придет ли к нам более сильный и не наложит ли на нас рабских цепей?...

Он с грустью взглянул на любимый город.

– Чужестранец, – продолжал он, – меня зовут Алько, а друзья прозвали «осторожным». Старшие сенаторы внимают моим советам, но молодежь не следует им. Я торговал, я ездил по свету, у меня жена и дети; я считаю, что в мире благоденствие народов и что мир следует удерживать всеми силами.

– Я Актеон, афинянин. Я был мореплавателем – в бурю погибли мои суда; я был купцом – и потерял свое состояние. И Меркурий, и Нептун обошлись со мной как бесчеловечные родители. Я много наслаждался, много страдал, а теперь нищий; я продаю свою кровь и свои мускулы.

– Плохо поступаешь, афинянин: ты был человеком и хочешь сделаться волком. Знаешь, что мне нравится в твоём народе? То, что вы смеетесь над Геркулесом с его подвигами и поклоняетесь Палладе Афине. Презираете силу и превозносите ум и мирные искусства.

– Сильная рука столь же ценна, как и голова, в которую Зевс вложил свое пламя.

– Да, но эта рука убивает голову.

Актеона возмутили слова Алько.

– Знаешь ты стрелка Мопсо?

– Ты найдешь его близ храма Геркулеса. Ты его узнаешь по оружию, которое он никогда не покидает. Он из тех, кого привлекает сюда злой дух войны.

– Прощай, Алько.

– Да хранят тебя боги, афинянин.

Актеон узнал храброго грека по луку и колчану за его плечами. Это был крепкий человек с длинной бородой; вокруг его седых кудрей была закручена воловья жила, служившая для натягивания лука. Его развитые мускулы показывали, сколько надо было употребить напряжения, чтобы натянуть его тугой лук.

Он обратился к Актеону с тем уважением и сочувствием, с которыми относились к афинянам греки, жившие на островах.

– Я поговорю в сенате, – ответил он на предложение Актеона. – Моего слова будет достаточно, чтоб тебе дали место, соответствующее твоим достоинствам. Ты сражался когда-нибудь?

– Я был на войне с лакедемонцами под начальством Клеомена.

– Знаменитый полководец; до нас дошли рассказы о его подвигах. Что случилось с ним?

– Я оставил его, когда он, побежденный, но не падший духом, спасся в Александрию. Там он жил под покровительством Птолемея; однако я теперь слышал в Новом Карфагене, что вследствие придворной интриги он впал в немилость, египетский монарх подослал к нему убийц и Клеомен с его двенадцатью товарищами погибли, защищаясь. Когда он пал, перед ним была гора трупов.

– Достойный героя конец... Где ты учился военному искусству?

– Я начал в Сицилии и Карфагене, в лагерях наемников, а кончил свое воспитание в Пританее в Афинах. Мой отец Лизастр был на службе у Гамилькара и казнен карфагенцами во время их войны с наемниками – войны, названной «безжалостной».

– Хорошая школа и достойный ответ. Прежде чем я поступил на службу Сагунта и бродил по свету, до моего слуха доходило его имя... Привет тебе, Актеон! Если хочешь, поступи в гоплиты, ты будешь в первом ряду фаланги, у тебя будет тяжелое вооружение и широкая пика... Впрочем, нет! Вы, афиняне, любите сражаться налегке. Ваше преимущество в быстроте, а не в силе. Ты будешь пельтастом. С копьем и легким щитом, называемым пельта; ты будешь драться свободно, и о твоих подвигах наверняка заговорят.

Мимо двух греков прошло несколько стариков, которым стрелок низко поклонился.

– Это сенаторы, – сказал он, – они собираются, потому что базарный день. Многие из них прибывают сюда на носилках из своих поместий. Они собираются там, около той колоннады.

Актеон видел, как старики усаживались на деревянные кресла с изогнутыми ножками и с головой Немейского льва над спинками. По их лицам и одеждам можно было заметить, какое разнообразие народностей скопилось в городе. У приехавших из своих ферм бородатых, смуглых иберийцев были полотняные, подбитые шерстью панцири, короткие, обоюдоострые мечи, висевшие через плечо, и шапки из такой твердой кожи, что могли служить шлемом. Греческие же купцы были бритые, задрапированные в белые хламиды, из которых высывалась обнаженная правая рука; тесьма связывала их волосы наподобие короны, и они опирались на палки с заостренным верхом. Они напоминали греческих царей, объединившихся против Трои.

Между ними Актеон заметил гиганта с черными курчавыми волосами. Из-под его красной материи виднелись выдающиеся мускулы и жилы.

– Это Терон, – сказал стрелок. – Он главный жрец Геркулеса; поразительный человек, получивший венок в Олимпийских играх, убивающий быка одним ударом кулака по шее.

Актеону во второй раз показалось, что он видит между сенаторами фигуру кельтийского пастуха, но стрелок заговорил, и он обратился к нему.

– Начинается заседание; я должен стать на ступенях и ожидать приказаний. Поди, Актеон, и подожди меня на Форуме. Там ты встретишь моего сына. Ты говорил, что видел его уже по дороге? Наверно, с ним была пастушка Сонники? Не смущайся, Актеон, не лги. Я верно догадался. Ах, дети! Этот бродяга, вместо того чтобы работать, бежит по полям с рабой!..

Несмотря на строгость слов стрелка, в его тоне слышалась нежность; он, очевидно, предпочитал другим детям этого свободолюбивого капризного артиста, на целые недели исчезавшего из отчего дома, чтобы слоняться по горам или порту.

Греки расстались. Когда Актеон направился к Форуму, он снова увидел снующего по Акрополю таинственного кельтийского пастуха. Входя в портики, грек слышал крики и свистки: толпы людей смеялись и ругались, народ выходил из палаток бладобреев и продавцов благовоний. Группа нарядной молодежи важно проходила в толпе, не обращая внимания на свистки и насмешки, раздававшиеся по их адресу.

Это была золотая молодежь Сагунта, богачи, подражавшие обычаям афинской аристократии, утрируя их в силу отдаления и дурного вкуса. Актеон улыбнулся, видя, как неуклюже сагунтинцы подражали своим далеким образцам.

Впереди шел Лакаро, сопровождавший Соннику в ее утреннем посещении храма Венеры. Они были одеты в ткани ярких цветов, столь прозрачные, что тело сквозило; платья их напоминали одежду гетер на пирах. Их бритые щеки были нарумянены, а глаза подведены темной краской; волосы их, завитые, напомаженные и надушенные, были перевиты лентой. У некоторых из них висели длинные серьги и бренчали запястья. Иные облакачивались на маленьких рабов с белыми шеями и густыми локонами, рабов, которые своими округленными формами напоминали девушек. Как будто не слыша брани и насмешек народа, они говорили между собой о греческих стихах, сочиненных одним из них, обсуждая их достоинства и какой должен быть для них аккомпанемент на лире; они прерывали свой разговор, только чтобы погладить по щеке своих юных рабов или поклониться знакомым; в глубине души они были очень довольны скандалом, произведенным их появлением на Форуме.

– Не говорите мне, что они подражают грекам, – кричал в одном кружке старик с умным лицом и грязной, заштопанной мантией педагога без места. – Огонь богов падет на этот город. Верно ли то, что наш отец Зевс в минуту страсти унес Ганимеда? А Леда? И все бесчисленные красавицы, которые поддавались пламенному властителю Олимпа?... Хороша бы была гармония мира, если бы люди стали подражать богам и все оделись женщинами, как эти дураки. Хотите видеть грека? Вот он: это настоящий сын Эллады.

Он указал на Актеона, на которого обратились любопытные взгляды окружающих.

– Как ты будешь смеяться, иностранец, над этими несчастными, так грубо подражающими нравам твоего отечества! – продолжал кричать этот хулитель с внешностью нищего. – Знаешь, я философ. Единственный философ в Сагунте, поэтому ты поймешь, что этот неблагодарный народ дает мне умирать с голоду! Я в молодости был в Афинах, учился в тамошних школах, потом отправился по свету искать истину. Я ничего не выдумал, но знаю, что говорили люди о душе и мире. Хочешь, я скажу тебе на память целые параграфы из Сократа и Платона или речи великого Диогена? Я знаком с твоим отечеством и стыжусь за свой город при виде этих дураков. Знаешь, кто виновник всех этих постыдных чудачеств? Это Сонника, которую зовут «богачкой», бывшая куртизанка, которая кончит тем, что превратит Сагунт в позорище, разрушит традиции города, грубые, но здоровые нравы прежнего времени.

При имени Сонники раздались возгласы неодобрения.

– Вот видишь! – закричал еще яростнее философ. – Они ее поклонники, рабы, боящиеся правды. Имя Сонники для них – имя богини. Видишь вот этого? Сонника дала его отцу большую сумму денег без процентов на покупку зерна в Сицилии, вот он поэтому не может слышать, чтобы ее осудили. А этот за нее стоит, потому что она выкупила его отца из рабства, и все они, те, что сейчас хотят съесть меня, все получили от нее какие-нибудь милости и наверняка постараются отомстить мне за мои слова. Они, рабы, защищают ее, как какое-нибудь божество. Так как их много, то правительство не смеет наказать эту гречанку, сумасбродства которой скандализуют весь город. Ну, бейте меня, купчишки! Бейте единственного правдивого человека в Сагунте!

Молодежь стала удаляться с бранью по адресу философа.

– Ты должен бы проявлять более благодарности, – сказал один из уходивших, – если ты обедаешь только у Сонники.

– Буду у нее ужинать и сегодня, – дерзко ответил философ, – ну, так что это доказывает? Я ей в лицо скажу то, что говорил здесь!.. И она будет смеяться, как всегда, тогда как вы будете слюнки глотать в ваших домах, думая о ее ужине.

– Неблагодарный! Паразит! – ответил, презрительно пожимая плечами, один из уходивших.

– Благодарность – добродетель собак; человек доказывает свое совершенство, понося тех, кто ему покровительствует... Если не желаешь, чтобы философ Евфобий был паразитом, то и давай ему содержание взамен его мудрости.

Но Евфобий говорил напрасно: слушатели его все исчезли. Оставался только Актеон, с интересом рассматривавший человека, встреченного в чужом городе и так похोдившего на тех голодных и невежественных философов-плебеев, которые кишели вокруг академии в Афинах.

Увидев себя без окружавшей его публики, Евфобий взял грека за руку.

– Ты один достоин того, чтобы меня слушать. Видно, что ты оттуда и умеешь различать людей по их достоинству.

– Кто эта Сонника, так возмущающая тебя? Знаком ты с ее жизнью? – спросил афинянин, желавший что-нибудь узнать о прошлом женщины, о которой толковал весь город.

– Как не знать! Тысячу раз она мне сама рассказывала в минуты меланхолии и скуки; когда я более не в силах смешить ее своей мудростью, она начинает говорить о своем прошлом, да так небрежно, точно говорит с собакой. Это длинная история.

Философ прищурился и показал глазом на дверь помещения, где виднелись ряды амфор.

– В доме Фульвия нам будет удобнее. Это честнейший римлянин, он поклялся не иметь дело с водой. У него есть удивительное ауронское вино. Отсюда слышен его аромат.

– У меня нет ни одного обола.

Философ потянул носом любимый запах вина и сделал неодобрительный знак. Несмотря, однако, на это, он посмотрел с нежностью на грека:

– Ты достоин того, чтобы слушать меня! Ты беден, как и я, среди этих купцов, наполняющих серебром свои лавки!... Если нет вина, будем прогуливаться, это освежает мысли. Я буду обращаться с тобой как Аристотель со своими любимыми учениками.

И, прохаживаясь вдоль портиков, Евфобий начал рассказывать то, что знал о жизни Сонники.

Она предполагала, что родилась на Кипре, острове любви. По тем побережьям, где, по словам поэтов, из плещущей пены морской родилась Венера Афродита, женщины острова искали моряков, чтобы отдаться им в память богини. От такой встречи женщины с гребцом родилась Сонника. Она смутно помнит первые годы своей жизни, протекавшие на палубе корабля; она прыгала по скамьям гребцов, ее кормили как живущих на корабле котят и так же пренебрегали ею; она побывала во многих портах с разным народонаселением, с различными одеждами и нравами; но она их видела издали, как бы во сне, потому что никогда не сходила на землю.

Прежде чем она сделалась женщиной, она уже была любовницей хозяина судна, самосского моряка. Потому что она ему надоела или из-за выгоды, он продал ее беотийцу, державшему публичный дом в Пирее. Маленькой Соннике не было еще двенадцати лет, а она уже обращала на себя внимание среди других блудниц Пирея, главного центра афинской проституции.

Иностранцы, шулера, юноши, убежавшие от отцовской строгости, ютились в той окраине Афин, которая простиралась вокруг портов Пирея и Фаралоо и составляла предместье Эстирон. Едва спускалась ночь, как весь этот буйный, испорченный народ собирался на главную площадь Пирея, между крепостью и портом, где начинали появляться проститутки, которых только в сумерки выпускали из их жилищ. Под портиками площади игроки бросали кости, странствующие философы спорили между собой, спали бродяги, рассказывали о своих странствованиях моряки; и среди этой разношерстной толпы ходили проститутки с нарумяненными лицами, почти голые или в пестрых, ярких мантиях африканского и азиатского происхождения. Здесь выросла и развилась молодая дочь Кипра, сходясь каждую ночь то с хлеботорговцем из Вифинии, то с продавцом кожи из Великой Греции, с людьми грубыми и веселыми, которые перед возвращением на родину тратили часть приобретенных денег с афинскими куртизан-

ками. Дни Сонника проводила в доме довольно бедной наружности, украшением которого служила только эмблема плотской любви – вывеска заведения. Двери были всегда открыты, охраняемые собакой на цепи; шерстяная завеса едва отдергивалась, как в открытом внутреннем дворике уже виднелся сидящий и лежащий на земле живой товар дома: женщины, истощенные страстью, и еще не сформировавшиеся девочки, все голые. Тут перемешивались темные пушистые тела египтянок с бледными гречанками и белыми шелковистыми телами азиаток...

Сонника, звавшаяся тогда Мирриной (именем, данным ей моряками), устала от жизни в этом доме. Здесь все были рабыни, которых беотиец бил, если посетитель уходил недовольным. Ей противно было получать два обола – цену, установленную законом Солона, – из мозолистых рук, причинявших боль, лаская; ее тошнило от пьяных и грубых людей, искавших минутного удовольствия и сменявшихся все новыми и новыми, с тем же приливом желаний, возбужденных солью моря, с теми же капризами и одинаковыми требованиями.

В одну из ночей она посетила в последний раз храм Венеры Пандемонийской, выстроенный Солоном на главной площади Пирея, положила по оболу у статуй Венеры и ее спутницы Пифо – двух богинь, чтимых куртизанками, что она делала часто, прежде чем отдаться на берегу моря или у большой стены, воздвигнутой Фемистоклом для соединения порта с Афинами, своим случайным любовникам. Потом она пошла в город, радуясь свободе и питая надежду сделаться одной из афинских гетер, роскошью и красотой которых она любовалась издали. Она жила, как жили свободные и бедные проститутки, называемые афинской молодежью «волчицами». Первое время она иногда не ела целыми днями, но считала себя гораздо счастливее своих бывших товаров из Фаралейского порта или предместья Эстирон – рабынь содержателей публичных домов.

Местом ее деятельности теперь сделался Керамикон, окраина Афин, простиравшаяся от Керамиконских до Динильских ворот, где находится сад Академии и гробницы знаменитых граждан, погибших за республику. Днем туда прибывали известные гетеры или присылали своих рабочих узнать, написаны ли их имена на стенах Керамикона: афинянин, желавший сношения с какой-нибудь куртизанкой, писал на стене ее имя и цену, которую он мог дать ей, и если это ей оказывалось подходящим, то она у этой надписи ждала сделавшего предложение. При свете солнца гетеры показывались там почти обнаженными, в красных сандалиях, в цветистых мантиях, с венками роз на волосах, покрытых золотой пудрой. Поэты, риторика, артисты и знаменитые граждане гуляли по зеленым садам или открытым портикам Керамикона, разговаривая с куртизанками и ломая голову, чтобы остроумно ответить им.

Ночью же толпа бедных, оборванных женщин слонялась между гробницами знаменитостей. Это были подонки забавлявшихся Афин, живущие свободно и искавшие темноты ночи: старые куртизанки, с помощью сумерек зарабатывавшие свой хлеб на том самом месте, где когда-то царили своей красотой; женщины, вырвавшиеся из публичных домов; рабыни, на несколько часов убежавшие от хозяев, и женщины из народа, искавшие в проституции облегчения своей нужде. Присев около могил или под кустом лавра, они были недвижимы, как сфинксы; когда же шаги какого-нибудь человека нарушали тишину Керамикона, из всех углов поднимались слабые призывы. Часто, увидев агента, которому было поручено собирать с куртизанок пошлину, установленную законом Солона и составлявшую главнейший доход Афин, они обращались в бегство. Проходивший здесь в полночь после пира чувствовал вокруг себя дыхание невидимого мира, слышал стоны и движение по зеленой траве и белой площади. Поэты, смеясь, говорили, что это вздохи великих людей о профанации их могил.

Так жила Миррина до пятнадцати лет, проводя ночи на Керамиконе, а день – в хижине старухи из Фессалии, которая, как все ее соотечественники, считалась колдуньей и жила тем, что продавала любовные напитки и раскрашивала физиономии постаревших куртизанок.

Чему только не научилась маленькая «волчица» у этой костлявой и безобразной старухи! Она помогала ей примешивать свинцовое белило к рыбьему клею, чтобы этой мазью сглажи-

вать морщины, готовила муку из бобов для растирания груди и живота, что придавало гладкость и крепость мускулам; наполняла флаконы антимонием, придающим блеск глазам; распускала кармин, чтобы слегка раскрашивать морщины, покрытые известным составом. Она с величайшим вниманием слушала умные советы старухи, преподававшей своим ученицам искусство рельефно выставлять свои внешние достоинства и скрывать недостатки. Старая фессалийка советовала маленьким полным девушкам носить подошвы из корки, а высоким тонкую обувь и втягивать голову в плечи; она изготовляла выпуклости для худых, корсеты для полных; красила сажей седые волосы, а тем, у кого были хорошие зубы, советовала держать в них веточку мирта и смеяться при каждом слове.

Молодая девушка пользовалась ее доверием и потому помогала ей в самых опасных предприятиях: составлении любовных напитков и разных чар, из-за которых ее не раз преследовали служащие при Академии. Наиболее зажиточные гетеры обращались к ее искусству со своими желаниями радости или мести. Чтобы помочь бессилию мужчины или бесплодию женщины, надо было в их чаше вина утопить маленькую рыбку; чтобы привлечь любовника, надо было на огне из веточек тмина и лавра испечь мучную лепешку без дрожжей; чтобы обратить любовь в ненависть, надо было идти по следам означенного человека, ступая правой ногой на след его левой ноги, и приговаривать: «Против тебя иду по следам твоим». Если желали возратить охладевшего любовника, то старуха поворачивала в руках бронзовый шар и прижимала его к груди, моля Венеру, чтобы названный человек также вертелся у дверей его бывшей любовницы. Если же это не помогало, то колдунья бросала в волшебный костер восковое изображение любимого человека, обращаясь ко всем богам с просьбой, чтобы его сердце растопилось любовью, как растопилась его восковая фигурка. К этим заклинаниям часто прибавлялись лекарства, составленные из разных возбуждающих средств, причинявших иногда смерть.

В одну лунную весеннюю ночь одна встреча заставила Миррину бросить лачугу фессалийки. Ее зов, слабый и нежный, как стон, обратил на нее внимание человека в белом плаще, с венком из вялых роз. По блеску глаз и шатающейся походке можно было предположить, что он пьян.

Миррина догадалась, что это знатный гражданин, возвращающийся с пира. Это был поэт Сималион, молодой аристократ, получивший венок на Олимпийских играх и считавшийся в Афинах наследником Анакреона. Его стихи читали под аккомпанемент лиры гетеры на пирах, а честные гражданки, краснея от волнения, в уединении гинекея. Самые знаменитые красавицы Афин ссорились из-за него. Слабый, несмотря на молодость, как бы не в силах перенести тяжесть всеобщего внимания, удалялся он в храм Эскулапа, отправлялся ко всем чудотворным источникам Греции и островов, но, лишь только мучившее его кровохарканье прекращалось и здоровье улучшалось, он бросал лечение и возвращался к пирам, к гетерам и прелестным грешницам, переходил из одних объятий в другие, платил за их ласки стихами, которые облетали весь город, прожигал свою жизнь, как факел, переходивший во время праздника Диониса из рук в руки вакханкам, пока не пропадал в бесконечности.

Возвращаясь с одной из таких оргий, он встретил Миррину. Увидев при свете луны ее свежую, почти детскую красоту в месте, посещаемом самыми последними «волчицами», он не поверил своим глазам. Перед ним была Психея с крепкими, круглыми грудями, как опрокинутая прекрасной формы чаша, с линиями тела столь мягкими и правильными, что не сумели бы создать ничего подобного и скульпторы Академии. Поэт почувствовал такое же наслаждение, как когда по дороге из Афин к порту, вдоль стены Фемистокла, ему приходили в голову последние строфы какой-нибудь оды.

Сонника хотела пригласить его в хижину фессалийки, но Сималион, ослепленный мраморным телом, сквозившим сквозь рубище, увел ее в свой великолепный дом на улице Треножников, сделав ее его хозяйкой, окружил рабами и дорогими одеждами.

Такая фантазия поэта огорчила Афины. И в Агоре, и в Керамиконе только и говорили, что о новой любовнице Сималиона.

Важные гетеры, так желавшие завоевать поэта, оскорбились тем, что он увлекся девочкой из публичного дома, испытавшей, вероятно, много приключений в Пирее. Сималион возил ее на своей колеснице, запряженной тройкой лошадей с подстриженными гривами, на все праздники в храмах Греции; сочинял для нее много стихов и под дождем падающих на постель цветов будил чтением их свою возлюбленную. Он давал пиры своим друзьям-артистам, наслаждаясь их завистью, когда заставлял ее, обнаженную, стоять на столе, во всем великолепии ее чистой красоты, возбуждавшей в этих греках почти религиозное чувство.

Верная Сималиону сначала из благодарности, а потом из любви к поэту и его произведениям, она обожала его как артиста и как любовника. Скоро она научилась играть на лире и декламировать его стихотворения в разных стилях, прочла библиотеку своего любовника, могла поддержать разговор с художниками, посещавшими его вечера, и наконец прослыла одной из умнейших гетер Афин.

Сималион, все более увлекаясь своей милой, беззаветно тратил жизнь и деньги. Для нее он выписывал из Азии ткани, вышитые фантастическими цветами, сквозь которые просвечивал перламутр ее тела, золотой порошок для волос, чтобы она была похожа на богинь, изображавшихся в Греции всегда белокуроыми; давал поручение купцам привозить из Египта самые свежие розы. Иногда он в припадке кашля падал в изнеможении, бледный и с горящими глазами, в объятия своей любовницы. После двух лет, проведенных таким образом, в один осенний вечер, лежа в своем саду, склонив голову на колени красавицы, следя за ее белыми пальцами, перебиравшими струны лиры, он в последний раз услышал свои стихи, спетые свежим голосом Миррины. Солнце осветило последними лучами верхушку копья Минервы в Парфеноне; его слабые руки едва могли поднять чашу, полную вина и меда; он сделал усилие, чтобы поцеловать свою возлюбленную. Розы его венка облетели и покрыли лепестками грудь Миррины; он издал тихую жалобу, закрыл глаза и склонился в объятия женщины, которой посвящал остаток своей жизни.

Молодая женщина оплакивала его с отчаянием вдовы. Она обрезала свои роскошные волосы и положила их на его могилу, она оделась в темного цвета шерстяную одежду, как добродетельные афинянки, и осталась в доме, пустом и одиноком, как гинекей.

Но необходимость жить и поддерживать ту роскошь, к которой она уже привыкла, иметь лошадей, рабов и наездников, заставила ее вспомнить о своей красоте и возбудить в гетерах страх перед новой соперницей. С головой покрытой рыжим париком, укутанная прозрачными покрывалами, выдававшими округленные линии ее груди, увешанной жемчугом, с руками, до плеч покрытыми запястьями, она показалась у высокого окна своего дома, как богиня у входа храма. Самые богатые афиняне простаивали ночи на улице Треножников, чтобы увидеть *вдову поэта*, как ее с насмешкой называли в Керамиконе. Некоторые, более храбрые и сторвавшие желанием, поднимали указательный палец, в виде безмолвной просьбы, но напрасно ждали они жеста, которым гетеры изъявляли свое согласие, складывая большой и указательный пальцы в форме кольца.

Через некоторое время они старались достигнуть возможности хотя бы посетить дом знаменитой куртизанки. Шли толки о том, что в минуты скуки она ночью впускала к себе молодых скульпторов, изваявших свои первые вещи в садах Академии, или поэтов, читавших свои непризнанные стихотворения праздным людям на Агоре, людей, которые за любовь могли заплатить несколько оболлов или, самое большее, драхму. Богачи же, предлагавшие несколько мин, чтобы войти в дом, не могли удовлетворить своего желания. Старая куртизанка рассказывала с некоторым уважением, что один азиатский король, проездом в Афинах, дал Миррине за одну ночь два таланта – то, что тратили в год некоторые греческие республики, – а красивая

гетера, не тронутая такой щедростью, позволила ему быть около нее, только пока вылилась одна склянка ее часов. Чувствуя отвращение к мужчинам, она мерила любовь песочными часами.

Сказочно богатые купцы, приезжая в Пирей, искали протекцию, чтобы попасть в дом Миррины. Они давали взятки бродячим артистам, принятым у нее, чтобы получить приглашение на ее ужин. Некоторые из них, прибывшие накануне с целым флотом товаров, продавали их с кораблями, чтобы войти в дом поэта, и возвращались в свою страну нищими, но довольные завистью и уважением, которое возбуждали в товарищах.

Таким образом она познакомилась с Бомаро, молодым иберийцем, закинфским купцом, пришедшим в Афины с тремя кораблями, нагруженными кожами. Куртизанке понравилась его нежность, так отличавшаяся от грубости других торговцев, испорченных жизнью в портах. Он говорил мало и краснел, как будто долгое молчаливое пребывание на море придавало ему скромность девушки; когда его просили рассказать о его приключениях, он делал это правдиво, не упоминая о пережитых опасностях и детски восторгаясь греческой культурой.

Во время ужина при первом знакомстве Миррина заметила его обращенный к ней взгляд, полный нежности и уважения, будто обращенный к богине, недоступной желаниям. Этот моряк, воспитанный среди варваров, в колонии, почти не сохранившей следов Греции, возбудил в куртизанке более живой интерес, чем окружающие ее афиняне и богатые купцы. Дрожа и путаясь в словах, молил он даровать ему, как милость, одну ночь, и провел ее не столько в чувственном, сколько в духовном восторге перед ее царственной наготой, перед ее дивным голосом, усыплявшим его теплым материнским напевом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.